

# ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ  
ВВЕДЕНИЕ

# Петр Андреевич Вяземский

## Автобиографическое введение

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24518959](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24518959)*

### **Аннотация**

«Вероятно никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего написанного мною в прозе, в течение шестидесятилетия и более. Это уже не в чужом, а в собственном миру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался...»

# Содержание

# Петр Вяземский

## Автобиографическое

### введение

Вероятно никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего написанного мною в прозе, в течение шестидесятилетия и более. Это уже не в чужом, а в собственном миру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался.

В наше скороспелое и торопливое время такое позднее появление довольно любопытно. У нас издаются книги только что вчера дописанные; листы высохнуть еще не успели: кажется, не только у нас, но и везде иные издают книги, которые только завтра напишутся, а пока спешат издать в свет пробные листы. Что до меня касается, следует еще заметить, что предлагаемое ныне собрание сочинений моих принято не по моему почину и, так сказать, от меня заочно. Благоприятели предложили, а я согласился. Как и почему согласился я, читателям и публике знать в подробности не нужно. Это – дело домашнее. Впрочем, не один раз друзья мои убеждали меня собрать и издать себя. Кажется, и посторонние лица, и даже литературные недоброжелатели мои удивлялись, с примесью некоторого сожаления, что нет меня на книжном рынке. Дело в том: в старое время, то есть когда

был я молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал. Далее, когда деятельность литературы нашей начала сходиться с пути, по которому я следовал, и приняла иное направление, на вызов издать написанное мною и разбросанное по журналам отвечал я: «Теперь поздно и рано». *Поздно* – потому, что железо остыло, а должно ковать железо, пока оно горячо, то есть пока участие читателей еще живо и сочувственно, пока не развлеклось оно новыми именами, новыми приемами. *Рано* – потому, что не настала еще пора, когда старое так состарится, что может показаться новым и молодым. По неизменному житейскому порядку и круговращению так бывает во многом: жизнь и история налицо – они засвидетельствуют правду этих слов. Легко может статься, что многое из ныне животрепещущего и господствующего не переживет века и дня своего. Другое, ныне старое и забытое, может очнуться позднее. Оно будет источником добросовестных изысканий, училищем, в котором новые поколения могут почерпать если не уроки, не образцы, то предания, не лишённые занимательности и ценности не только для нового, настоящего, но и для будущего. Слова: прошедшее, настоящее, будущее – имеют значение условное и переносное. Всякое настоящее было когда-то будущим, и это будущее обратится в прошедшее. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении;

но тут нет еще доказательства, что оно устарело; оно только вышло из употребления. Это так, но запрос на него может возродиться. Антикварию, продавцы старой мебели, старой утвари также удачно торгуют старьем, как и соседняя с ними лавка сбывает свой свежий и по последнему требованию изготовленный товар. Одно здесь условие: старое должно иметь свою внутреннюю и весовую, или художественную, ценность. В таком товаре есть большая, неувядаемая живучесть. Отлагая в сторону стыдливую скромность и не подвергая себя упрекам в излишней гордости, полагаю, что предлагаемый здесь товар не лишен, в некоторой степени того и другого свойства. Следовательно, и моя речь впереди. Стоит только дождаться удобного часа, а он пробьет уж без меня, но пробьет. Впрочем, некогда и я имел свои часы, и часы были еще с трезвоном и курантиками. Поздняя старость имеет право говорить о себе в третьем лице. Старик в собственных глазах своих уже не *я*, а *он*. В таких условиях выхожу пред общественное судилище. Доволен буду я и малочисленным одобрительным вниманием некоторых читателей; равнодушен буду, – по крайней мере, так мне кажется, пока я еще в кулисах и на сцену не вышел, – к строгим приговорам других судей, тем более что этот суд будет что-то вроде посмертного суда. Меня вполне живого он уже не застигнет. На долгом веку моем был я обстрелян и крупными похвалами и крупною бранью. Всего было довольно. Выдержал я испытание и *заговора молчания*, который устроили против меня. Я

был ответ: кругом могилы моей, в которую меня живого забыли, глубокое молчание. Что же? Все ничего. Не раздобрел, не раздулся я от первых, не похудел – от других. Натура одарила меня большою живучестью и телесною и внутреннею. Это может быть досадно противникам моим. Прошу у них в том прощения, но делать мне нечего. Я здоров своим здоровьем и болен своими болезнями. Чужие не могут придать мне здоровья, не могут со стороны привить мне и недуги. Злокачественные поветрия и наития бессильны надо мною.

Как бы то ни было, вот являюсь я весь налицо. Был старый чиновник; он прошел долголетнее служение и получил заслуженные им знаки отличия. Но он не носил на себе этих знаков, не развешивал их на шее и груди своей. Он держал их за образом, пред которым теплилась неугасимая лампада. Он берег эти кресты на день погребения своего. Без суеверия и страха, сдается иногда и мне, что я выступаю с литературными регалиями своими на прощание с авторскою жизнью и со всякого другою. Эти регалии улягутся на подушках, которые будут сопровождать мой гроб. Мир им и мне!.. Скажу, что Карамзин сказал в надгробной надписи, в 1792 году, в год рождения моего; это также живая старина:

Покойся, милый прах, до радостного утра.

Я верую в утро и воскресение мертвых, следовательно, и в свое.

# I

Заговорив о себе немножко, хочется поговорить еще более. Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью. Пьяница может на некоторое время наложить на себя трезвое пощенье; но попадись на язык его капля вина, он снова предается запою. Так первая капля крови действует на некоторых зверей, к сожалению, и на некоторых людей. Эта капля пробуждает свойственную им кровожадность. Недаром говорил Фридрих Великий, что в каждом человеке таится тигр. Ему верить можно. Он в свое время был и великий проливатель крови и великий проливатель чернил. Радуюсь, что судьба поставила меня в возможность подражать ему только в последнем отношении.

Вот в чем дело. Полное издание сочинений писателя есть, так сказать, и выставка жизни его. К выставкам прилагаются обыкновенно указатели и пояснительные каталоги. Так хочется поступить и мне. К выставке моей считаю нелишним, приложить некоторые отметки к комментарию. Это будет род авторской исповеди: смесь свидетельства о рождении, литературного формулярного списка и предсмертного духовного завещания. Сам не знаю, что из всего этого выйдет. Но что-нибудь да выйдет. Дам волю памяти своей и старческой болтливости.



## II

С тех пор, что помню себя, во мне проявлялись и копошились какие-то бессознательные зародыши литературные и авторские. Например, во время оно «Московские Ведомости» выходили два раза в неделю, по средам и субботам. Я всегда караулил появление их в доме нашем и с жадностью кидался на них. Но искал я не политических известий, а стихотворений, которые в них изредка печатались. Более всего привлекали меня объявления книгопродавцев о выходящих книгах. Читал я эти объявления с любопытством и благоговением, тем более что объявления писались тогда витиевато и кудряво. Вывали еще объявления от переводчиков, которые предостерегали совместников своих, чтобы они не брались за перевод такого-то романа, потому что он уже переводится и скоро поступит в продажу: эти объявления заставляли трепетать мое сердце. Я завидовал счастливым, которые переводят. Должно сознаться, что не одни книжные оповещения обращали детское внимание мое. В «Московских Ведомостях» зачитывался я и прейскурантов, виноторговцев, особенно нравились мне поэтические прозвания некоторых вин, например, *Lacryma Christi*<sup>1</sup> и другие, равно благозвучные. Тут, может быть, пробуждалась и звенела моя поэтиче-

---

<sup>1</sup> Слеза Христа; здесь: вино с подножья Везувия (*лат.*).

ская струна, а может быть, просто, но все-таки поэтически, отзывалось предвкушение, или предчувствие, что некогда буду и я с приятелями моими, Денисом Давыдовым и графом Михаилом Вьельгорским, равнодушным ценителем благородного сока виноградных кистей. За давностию времени, не берусь решить, кто тогда брал верх надо мною: Аполлон или Вакх. Помнится мне, что еще прежде находил я удовольствие и даже наслаждение в первоначальном чтении по складам. Сочетание азбучных букв в один звук ласкало мой музыкальный слух. Вообще детская память моя очень чутка. За последующие годы она слабее и безответнее. Помню, как дядька мой, Lariette, секал меня, четырех- или пятилетнего мальчика, бритвенным ремнем в Нижегородском генерал-губернаторском доме. Лет тридцать спустя, если не более, заходил я в этот дом, и, кажется, узнавал комнату, в которой совершалась экзекуция надо мною, и припоминал ее вовсе без злопамятства. Да, милостивые государи, меня секли ремнем, и после несколько раз секали розгами, однажды, и собственными руками отца моего, за персик, который я тайно присвоил себе и съел. Впрочем, не за лакомство свое был я наказан, а за ложь, то есть за то, что не хотел признаться в проступке своем. Мне было тогда лет восемь или девять. Не помню, плакал ли я под розгами, но помню слезы на глазах отца. Сознаюсь в том и убежден я, что эти наказания несколько не унизили характера моего. О наказаниях много ныне толкуют, но не доходят до того заключения, что

почти все наказания свойства более или менее физическо-го или телесного. Содержание в тюрьме, ограничение пищи, приневоливание к работам: разве все это нравственные наказания? Нет, это те же розги, бичующие тело. Странные понятия в умозаключении наших филантропов. Они допускают нравственные наказания: унижение, пристыжение самолюбия в достоинстве человека, гласное, публичное посрамление, ошельмование человека; но крепко стоят за неприкосновенность тела: спины его и других частей. Но разве тело почетнее и выше нравственных и духовных свойств человека? Сколько несостоятельности, неблагоразумия, противоречий в человеческих понятиях и соображениях! Как много суемыслия и суесловия в иных *принципах*, в так называемых системах и учениях. В учебных заведениях среднего разряда телесные наказания торжественно отменены. Это событие празднуют, как погашение огней инквизиции в Испании, или взятие и разрушение Бастилии в Париже. Не спорю, что, может быть, бывали, даже и положительно бывали, злоупотребления в праве и обычае подвергать учеников телесным наказаниям, но нет сомнения, что эти злоупотребления бывали редки: бывали прискорбным исключением, а не общим правилом. Впрочем, вспыльчивый, заносчивый, раздражительный, несправедливый учитель и наставник могут и невооруженные розгами пагубно действовать на учеников, вверенных заботливости их. Могут они оскорблять их и зарождают в них чувства непокорства и злобы одними обидными сло-

вами, одним суровым и беспощадным обращением с этим чутким, впечатлительным и часто злопамятным возрастом. Но за то ныне, при новых порядках, за шалость, которая, в доброе старое время, вызвала бы на шалуна домашнюю, семейную, патриархальную расправу, в уверенности, по русской поговорке, что до свадьбы заживет, ныне, вместо розог, и за неимением других под руками средств, отрока-шалуна выгоняют и исключают из заведения, то есть разом губят его настоящее и будущее его. Родители, отдавая детей своих в училища, в праве предполагать, что эти заведения не только учебные, но вместе с тем воспитательные и образовательные. Они, так сказать, передают начальству заведения обязанности и права свои в отношении к своим детям. Какой добросовестный и благоразумный, не говоря уже чадолюбивый и нежный, отец решится за шалость, и даже за проступок, выгнать сына своего из родительского дома и бросить его на улицу? Таким поступком доказал бы он, что не умеет быть отцом и не достоин быть отцом. На то и дети и отроки, на то и обязательное попечение о них, чтобы мерами нежной и неусыпной наблюдательности и строгого взыскания развивать в отрочестве зародыши и отрасли всего хорошего и отсекал — без каламбура — худые и пагубные отпрыски и наросты. Само собою разумеется, что о жестокости в наказаниях здесь и речи быть не может. Такая жестокость, явно уличенная, должна быть строго преследуема и караема законом, как в домашнем, так в во внедомашнем воспитании, подоб-

но тому, как взыскивается законом за всякое умышленное насилие, или увечье, нанесенное другому. В краткое и, откровенно сознаю, почти бесполезное прехождение мое по министерству просвещения, я всегда, по возможности, протестовал против подобных изгнаний из учебных заведений. Чтобы не приписывали мне более того, что я действительно думаю, нужным считаю договорить, что вовсе не выставлю себя присяжным защитником розог. Не полагаю, что в них заключается единственно спасительное пособие воспитания; но также не полагаю, чтобы совершенная отмена их была вполне плодотворная и радикальная мера. Разумеется, после отмены их, мудрено и, может быть, опасно возвратиться к ним. Но человеческий род так создан, что для многих и во всех возрастах страх наказания нужен. Если достаточно было бы благодетельной силы слова, чтобы человека вполне приучить в одному добру и отучить от всякого зла, то, кажется, лучше евангелия уже ничего придумать нельзя. Но и оно не всех направляет и не всех исправляет, а потому позволю себе сказать в заключение, что педагоги и ныне не следует, по этому вопросу, отдохнуть на лаврах своих и притупившихся розгах. Сей вопрос, как говорится, остается пока еще открытым. Много можно сказать *за* и многое *против*.

Вообще в детстве моем учился я лениво и рассеянно. Во мне не было никакого прилежания и после мало было усидчивости. В уме моем нет свойства устойчивости. Мой отец, вероятно, заметивший этот умственный недостаток, хотел

одолееть его и подчинить дисциплине математического учения. Хотел угомонить меня, так сказать выпрямить и отрезать в умственной гимнастике цифр. Но усилия его были напрасны. Я не поддавался. Математика в детстве и отрочестве моем была мне пугалом. Позднее осталась она для меня тарбарскою грамотою. Несмотря на то, многие из зрелых годов жизни моей провел я по ведомству цифирному: то по делам внешней торговли, то по управлению государственным заемным банком; по счастью, ни тут, ни там при мне обмолвки в итогах не было. Бог охраняет невинность. Такие встречаются в жизни противоречия и несоответственности. Родитель мой хотел сделать из меня математика, судьба сделала меня стихотворцем, не говорю: поэтом, ради страха иудейского и из уважения к критикам моим, которые заключили, что я не совсем поэт, или совсем не поэт. Кажется, они тоже говорят и о Дмитриеве. Это меня утешает. Кстати о нем. Он, бывало, говорил, шутя, что Аполлон внушил мне страсть к стихам назло отцу моему и в отмщение однофамильцу нашему, екатерининскому кн. Вяземскому, за то, что он преследовал Державина. Отца огорчала моя рассеянность или *развлекательность*: она была еще сильнее лени моей. Впрочем, это была, может быть, одна внешняя лень, которая закрывала мою внутреннюю деятельность. Отец упрекал меня, что когда я возьму книгу в руки, то начну читать ее без разбора, то с середины, то с конца, и поэтому без толка и без пользы. Замечание его должно быть справедливо, потому что и позднее

читал я более урывками. В жизни моей я очень многое прочел, но мало дочитал. И ныне у меня нередко две-три книги перебивают одна другую. Вообще я довольно сметлив: из нескольких страниц постигаю сущность книги и часто отрываюсь от пищи, не дождавшись насыщения. Так можно обращаться с романами, особенно с нашими, и вообще с книгами легкого содержания. С другими книгами подобное обращение невыгодно. Но я всегда предпочитаю занятие труда. Это также – погрешность и недостаток. Без труда ни до чего положительно и обстоятельно не дойдешь. Есть древняя поговорка: «Смертный, скользи, а не напирай». Эта поговорка эпикурейская. Более строгая и глубокая мудрость, напротив, предписывает: напирай! Постоянный напор одолевает препятствия, а на каждом пути, предстоящем человеку, препятствия встречаются. Вообще могу сказать о школярном возрасте своем и о последовавших возрастах, что я знал и знаю многое, чего можно было бы и не знать, а многое не знаю, что знать необходимо. Если не ошибаюсь, этот недостаток правильной экономии, эта неурядица нередко встречаются в общей нынешней образованности. Предметы знания до бесконечности умногосложились, а едва ли трудолюбие усилилось соразмерно с ними.

В детстве моем, вероятно, был я не *серьезное* дитя, а скорее несколько угрюмое. Ловкости, удалства, резвости во мне не било. Старик Pingot, наш танцмейстер, говаривал, что я мешок. Не помню, чтобы я когда-нибудь с увлечением

предавался детским играм. Братьев у меня не было, следовательно, в доме я был довольно одинок. Дядьке моему, Никите, который впоследствии сделался ужасным пьяницей и забавлял Жуковского, любил я передавать осколки из разговоров, подслушанных мною у отца моего. Вероятно, ни дядька, ни я не понимали толково и хорошо этих выдержек. Но, может быть, и тут уже прорывались некоторые намеки на свойственную мне наблюдательность и на развитие способностей моих в упражнениях литературного сыщика и общежитейского сплетника.

Отец был со мною взыскателен и строг. Я более боялся, нежели любил его. Любовь моя и уважение к нему были, так сказать, чувством и плодом посмертным. Я был вообще неуступчив и парадоксален. Однажды заметили мне за обедом, что я съел много хлеба и много выпил воды. На это возразил я, что остаются еще при мне крохи хлеба и что графин не совершенно опустел. Отец приказал оставить для завтрашнего дня на прокормление и потребление мое то, что называл я остатками. Был я довольно труслив и, вероятно, уже и тогда нервического сложения. Отец хотел победить во мне и этот недостаток. Меня заставляли одного барахтаться в Остафьевском пруду, с тем чтобы выучился я плавать. Летом, в темную ночь, посылали меня одного в рощу. Разумеется, на всякий случай следили за мною, но тогда я этого не знал.

Между тем отношения мои к отцу не всегда бывали так



натянуты и строги. Помню, что он часто смеялся моим детским устным выходкам. Вероятно, были и они проблески некоторой стороны будущего авторства моего. Речь моя была иногда довольно бойка и оригинальна. Помню, что из многочисленных посетителей дома нашего умнейшие, например князь Белосельский, Нелединский, граф Лев Разумовский, князь Яков Лобанов обращались ко мне, вызывая на какую-нибудь шутку или детскую остроту. Выше сказал я, что учился плохо в детской комнате; но зато рано начал я практическое учение в салоне нашем: метко вслушивался я в разговоры, которые раздавались вокруг меня. В этом отношении дом наш был для меня живою школою. Разумеется, многого из разговоров не понимал я, иное понимал криво. Но все же кое-что схватывал. Таким образом мой ум мог развиваться довольно рано, хотя и не совсем правильно.

Также рано начал я писать стихи, и, здесь можно сказать, совсем неправильно. Первоначальные стихи мои были французские. Видно, что эта способность моя была гласно признаваема и дома. При подарке на новый год карманной книжки отцу с тремя портретами нашими вызвали меня приложить стихи к этому поднесению. Заметим мимоходом, что эти портреты писаны были графом Ксавье де Местром, известным после автором «Путешествия кругом комнаты моей», «Сибирячки» и других сочинений, исполненных дарования и оригинальной прелести. Тогда жил он в Москве эмигрантом и занимался живописью для снискания средств к су-

ществованию.

В 1805 году написал я французские стихи на смерть Нельсона. Нечего и говорить, что все это было более или менее безграмотно. Но червяк стихотворства уже шевелился во мне. Правильно или, по крайней мере, правильнее, стал я писать гораздо позднее. Едва ли не со времени сближения моего с Жуковским. После слышал я от прежних учителей своих, что я казался совершенно тупым и будто отсутствующим при преподавании их; но если когда-нибудь, в уроке или в книге, приводились стихи или речь заходило о чем-то баснословном и поэтическом, то внимание мое внезапно просыпалось и сосредоточивалось. Лицо мое просияет, и я становлюсь совершенно другим мальчиком.

Впервые слышанные мною оды Ломоносова приводили меня в упоение. Не вникал я в их смысл, но с трепетом заслушивался я стройных и звучных их волн. От Державина был я без ума. Коротко знакомый Карамзину, Ив. Сем. Набоков, газетный цензор при Московском почтамте, был часто жертвою моей державиномании. При удобном случае то и дело отпускал я ему строфы из поэм Державина. Раз он не вытерпел и сказал мне: вы удивительно напоминаете мне приятеля моего, который ужасно надоедал мне Державиным. Монологи и сцены из трагедии Расина и Вольтера, которые мне давали выучивать наизусть, были для меня и прежде не уроками, а наслаждением. И теперь еще слышится мне, как де-

кламировал я тираду из «Альзиры»: «Manes de mon amant»<sup>2</sup>, и прочее.

Но не одни князья поэзии: Ломоносов, Державин, Расин, Вольтер покорили меня могуществу своему. Сознаюсь, что бывал я в плену и у князя Шаликова, с которым, впрочем, были мы и после хорошими приятелями. Была в отрочестве моем пора, когда вкусил я от «Плодов свободных чувствований»; под этим названием изданы были в свет молодые сочинения Шаликова, собрание разных сентиментальных и пастушеских статей. Однажды с профессором Рейсом, у которого я жил по назначению отца моего, ходили мы на Воробьевы горы. Тут встретился я с крестьянином, и под сентиментальным наитием Шаликова начал я говорить крестьянину о прелестях природы, о счастье жить на материнском лоне ее и так далее. Собеседник мой, не вкусивший плодов, которыми я обкушался, пучил глаза свои на меня и ничего не отвечал. Наконец спросил я его: доволен ли он участью своею? Отвечал: доволен. Спросил я его: не хотел ли бы он быть баринном? Отвечал он: нет, барство мне не нужно. Тут я не выдержал: вынул из кармана пятирублевую синюю ассигнацию, единственный капитал, которым я владел в то время, и отдал ее крестьянину. Долго радовался я впечатлению, которое оставила во мне эта прогулка à la Chalikof. Была у меня полоса Сумароковская; это было время военное: захотелось мне испытать силы мои на лирической трубе, но не по

---

<sup>2</sup> Душа моего любовника (фр.).

следам Ломоносова, а Сумарокова. Вот и начал я:

Воспой, о, Муза, песнь высокоу  
И в струны лиры ударяй,  
Воспой врагов ты суматоху  
И славу Россов возглашай.

Я очень дорожил словом *суматоха*. Мне казалось, что тут есть какой-то отзыв своеобразной и, так сказать, фамилиарной поэзии Сумарокова в противоположность с поэзией Ломоносова, несколько чопорною и официальною; а может быть, и просто увлекала меня некоторая аналогия в звуках: Сумароков, суматоха. Впрочем, я и ныне не отрекаюсь от Сумарокова. Почитаю его одним из умнейших и живейших писателей наших. Пушкин говаривал, что он вернее знал русский язык и свободнее владел им, чем Ломоносов.

Если речь дошла до исповеди в грехах юности или, правильнее, отрочества моего, то нужно упомянуть, что первая эпиграмма моя, или будто эпиграмма, пала на долю Мерзлякова. И вот по какому поводу. При определении моем в дом профессора Рейса (зять известного и домового врача нашего Керестури) приглашены были для преподавания мне наук лучшие профессора блестящего периода Московского университета: Буле, Рейнгардт и другие. В числе их должен был быть и Мерзляков. Немецкие профессора добросовестно и аккуратно проливали на меня лучи познаний своих. Один Мерзляков оставался при обещаниях. Наконец отпра-

вили меня к нему, чтобы разведать о причине упорного отсутствия его. Не застал я его дома. Мало знакомый тогда с русскими эпистолярными приличиями, оставил я ему записку, которая так начиналась: «Господин Мерзляков, прошу вас» etc. На другой день университетский сторож принес мне на грязном лоскутке бумаги записку, приблизительно такого содержания: «Господин Вяземский, я не школьный учитель, готовый ходить в дом к какому-нибудь немцу, чтобы давать вам уроки». Записка огласилась. Немецкие профессора взволновались. Кажется, даже сделан был выговор Мерзлякову от имени Михайла Никитича Муравьева, тогдашнего куратора Университета московского. С моей стороны амбиция была тоже затронута, и вот чем она разразилась. Скажем наперед, что Мерзляков в то время подписывал стихотворения свои, печатаемые в «Вестнике Европы», следующими буквами *Мрзк* или чем-то подобным.

### *Разговор*

Ты знаешь ли, мой друг, кто *мерзкий* сочинитель?

– Какие пустяки! Он школьный лишь учитель.

– Да, кто ж тебе сие сказал?

– В письме он сам мне написал.

Эпиграмма безграмотная! Но она имела большой успех в кругу немецкой профессуры. А товарищ мой по учению, какой-то Челищев – не знаю, что с ним сделалось, – добрый малый, но вовсе не эпиграмматический, сказал мне, что я собаку съел. Заметим мимоходом, хотя и не без хвастовства, что

Жуковский сказал мне однажды, разумеется, гораздо позднее, что я съел целую свору собак. Впрочем, какова ни есть моя эпиграмма, она была мой первый шаг, *mon premier coup de feu*<sup>3</sup>, на поприще, некотором я впоследствии перестреливался более или менее удачно.

Однажды навсегда обязан я объяснить читателю, что в рассказах моих не всегда держусь хронологического порядка. Хронология – наука чисел, а я, как уже известно, плохой счетоводец. Выбрасываю из мешка что попадется. Подбираю воспоминания свои более по мастям. Если будет у меня биограф, пусть он потрудится сводить и группировать года мои, как следует. А работать на него и за него не намерен. Иной ум плотно переплетен в одну книгу, страницы в строгом порядке следуют одна за другою. Другие умы худо переплетены, сшиты на живую нитку, страницы перемешаны. Мой ум состоит из летучих листков.

Теперь прошу читателя поворотить несколько обратно. В детской, или отроческой, жизни моей совершился крутой поворот.

Было уже сказано, что мой отец был вообще недоволен мною, особенно учением моим. Не ему в укор, не себе в оправдание, а для соблюдения истины скажу, что мое учение ни в каком случае не могло быть успешно, потому что оно не было правильно. Отец был человек большого ума и высокой, по тому времени, образованности. Когда вспоминаю о

---

<sup>3</sup> Мой первый выстрел (*фр.*).

нем, почти всегда вижу его в вольтеровском кресле с книгою в руке.

Само собою разумеется, что он хотел и из меня сделать человека просвещенного. Не знаю, как и чем объяснить себе, но выборы наставников, гувернеров, учителей моих были вообще неудачны. Не в деньгах было дело. Отец имел порядочное состояние и денег на воспитание детей своих жалеть бы не стал. Много перебывало при мне французов, немцев, англичан; но ни один из них не был способен приучить меня к учению, а это главное в деле первоначального воспитания. О русских наставниках и думать было нечего. Их не было, – не знаю, много ли их теперь. Надобно было ловить иностранцев наудачу. Припоминается мне один дядька, немец, который должен был наблюдать за мною и учить меня немецкому языку. Тогда в Москве, в Охотном ряду, был большой трактир, известный под именем «Цареградский». Это было, по нынешним понятиям, род кофейной, куда стекались иностранцы, в особенности учителя, род биржи, рынка, куда приходили нанимать домашних учителей. Мой немец выговаривал себе, между прочими условиями, позволение отлучаться вечером часа на два. Эти часы были посвящены цареградскому сборному месту. Возвращался он оттуда всегда более или менее навеселе. Отец, окруженный приятелями и посетителями и увлеченный живостью разговора, того заметить не мог. Но дети чутки и вообще наставников своих не любят. Кто-то из домашних посетителей спросил меня: как до-

волен я новым наставником своим? «Il cultive volontiers la vigne du Seigneur»<sup>4</sup> – отвечал я. Вероятно, подслушал я это выражение где-нибудь на лету и употребил его кстати. Мой ответ имел большой успех. Однажды ментор мой возвратился грузнее обыкновенного. Я подошел к нему и спросил: как сказать по-немецки – вонять. «Stinken. А зачем спрашиваете вы это?» – продолжал он. «Чтобы сказать вам: Sie stinken nach vino»<sup>5</sup>. Неправильны были слова мои, но попали они в цель. На дерзость мою дядька жаловался отцу. Мне было крепкое родительское головомытье, но и ментора выгнали из дома.

Все эти обстоятельства вразумили родителя моего, что домашнее, одиночное воспитание для меня не годится. В Москве учебных общественных заведений в почете не было. Не знаю, как и через кого, отец вошел в сношения с иезуитским заведением в Петербурге. Однажды, это было летом, в селе пашем Остафьеве, отец вызывает меня к себе. Нашел я его на террасе, выдающейся в сад. Перед ним был стол, на столе бумага, чернильница и перья. Довольно сурово, но, видимо, и грустно озабоченный, приказал он мне сесть и писать под диктовку его. Диктовал он на французском языке. В импровизации своей – он мастер был говорить и большой диалектик – изложил он картину моего воспитания, не отве-

---

<sup>4</sup> «Он охотно возделывает виноградник господний». Имеет переносное значение: напиться пьяным (*фр.*).

<sup>5</sup> От вас несет вином (*нем.*).



чающего желанием его; беспощадно вычислял все недостатки и погрешности мои. Обвинительный акт ничего не пропустил и был полновесен. Между прочим отец упоминал, как доволен он дочерьми своими, которые утешают и радуют старость его, тогда как я...

Тут умиление и слезы не дали ему возможности продолжать. Он отпустил меня и приказал мне переписать набело продиктованное им.

Скажу откровенно. Я не был растроган этою сценою. Вероятно, казалось мне, что суд и приговор, надо мною произнесенные, были слишком строги. Я как будто чувствовал, что не я один виноват в неудовлетворительных последствиях воспитания моего. Тогда был при мне наставником и преподавателем француз Дандилли, и, кажется, с некоторыми притязаниями на родственное свойство с известным духовным писателем Arnaud d'Andilly. Но, как бы то ни было, ни в нравственном, ни в ученом и учебном складе своем не отвечал он требованиям и условиям звания своего. Он был неглупый француз, добродушный, уживчивый, очень веселый, забавный краснобай; в доме нашем был он всеми любим. После того завел он в Москве французскую книжную лавку. До конца жизни его оставался я с ним в коротких и приятельских сношениях. Гораздо позднее прочтение этой бумаги пробуждало во мне умиление и сожаление, что я не в радость был отцу моему.

Вскоре после наказной грамоты отец мой, несмотря на лета свои, немощи и особенно домоседные привычки, сам отвез меня в Петербург. Я был помещен в иезуитский пансион. После предварительного и легкого испытания определен был я во второй класс, то есть средний. В этом классе товарищи были все более или менее ровесниками моими. Это было по учению. Но вскоре отношения и сношения мои связались гораздо теснее с воспитанниками старшего класса. Все были они старше меня: иные опереживали меня четырьмя и пятью годами. Они возвысили меня до себя и обходились со мною, как с ровнею. Тогда это меня радовало, но я не сознавался, и самолюбие мое не обольщалось. Но теперь не могу не заключить, что, стало быть, в то время я чего-нибудь да уже стоил. Стало быть, в характере моем, в уме были до некоторой степени развиты привлекательные свойства, которые сближали меня с старшим поколением. Ныне с умилением приношу дань благодарности этим товарищам, которые привели меня. Но едва ли не над одними могилами раздастся голос моей признательности. Смерть всех их перебрала. По крайней мере, не знаю, где отыскать мне живого товарища. Но память о них и о той счастливой поре жизни еще жива во мне.

Вызовем некоторые имена из этой приснопамятной для меня дружины, из этого рассадника, в котором развивались и созревали будущие силы. Юшков, уже и тогда ваятель, или резчик, но из бумаги и из карт, будущий охотник до лошадей и знаток; он искусно и изящно вырезывал статных и по-

родистых лошадей, которыми любовались мы и даже промышляли, пуская их между собою в продажу и обмену. Челищев, смуглый, черноволосо-кудрявый, которого прозвали мы цыганом. Приятная симпатическая личность. Брусилов, будущий герой многих не писанных, но осуществившихся романов. Энгельгардт, Обресков, Северин, Смирнов. Некоторых из них встречал я после по пути жизни, и всегда сходились мы, как некогда бывшие товарищи, бывшие рекрутские однокашники. С одними разрознила нас смерть, с другими – жизнь. С одним Севериным отроческое товарищество, по благоприятному стечению обстоятельств, обратилось в крепкое и до конца неизменное дружество. В пансионе он прекрасно учился и был поведения образцового. Одаренный отличными способностями, он и тогда уже обещал быть правильным, осторожным и оглядливым дипломатом. Энгельгардт – он впоследствии хорошо и всенародно был знаком Петербургу. Расточительный богач, не пренебрегающий веселиями жизни, крупный игрок, впрочем, кажется, на веку своем более проигравший, нежели выигравший, построитель в Петербурге дома, сбивающегося немножко на Парижский Пале-Рояль, со своими публичными увеселениями, кофейнями, ресторанами. Построение этого дома было событием в общественной жизни столицы. Пушкин очень любил Энгельгардта за то, что он охотно играл в карты, и за то, что очень удачно играл словами. Острые выходки и забавные куплеты его ходили по городу: и в пансионе еще

промышлял он этим, между прочим, и на мой счет, как говорится. Тотчас по водворении: моем приветствовал он меня следующим куплетом:

Mon Prince,  
Du quelle province?  
– Coucou,  
Do Moscou<sup>6</sup>.

Можно представить себе, с каким единогласием весь пансионский люд подхватил этот куплет. Мне прохода не давали: преследовали меня, встречали и провожали этою импровизациею. Одно время воспитанники забавлялись пусканием мыльных пузырей. Северин был всегда довольно художав, а тогда и ростом мал. Он проходил по двору, когда слетал один из этих пузырей. «Посторонись!» – закричал ему кто-то со второго этажа. Энгельгардт не пропустил случая и сказал:

О день, счастливый день, в который  
Котенок смерти избежал,  
Когда пузырь полет свой скорый  
На малой точке основал.

Северин и в пансионе прозван был котенком, как бы в предсказание того, что в «Арзамасе» будет он значиться *Рез-*

---

<sup>6</sup> Мой князь, из какой губернии? Ку-ку, из Москвы (*фр.*).

*вый Кот.* Позднее Энгельгардт забавно и удачно пародировал строфу Онегина о знаменитой танцовщице Истоминой. Речь идет об известном картежнике:

Тщедушный и полувоздушный,  
Тузу козырному послушный *etc.*

Алексей Обресков, старший сын генерала Михаила Алексеевича. Судя по впечатлениям моим и дальним воспоминаниям, заключаю, что он носил в себе залого блестящего будущего. В натуре его было что-то благородное, мыслящее и степенное. Но этим задаткам не дано было вполне развиться и созреть. Не много лет, по выходе из пансиона, был он смертельно ранен на приступе Руцука. Кажется, был он адъютантом при молодом предводителе войск наших, графе Каменском, которого также преждевременная смерть похитила с поприща, богатого многими надеждами, не обратившись в события. Мне рассказывали, что, умирая от ран своих, Обресков, полушутя, полугрустно, часто твердил: «Ну, милый Алексей Михайлыч, как думаешь, останешься ли ты жив или нет?» Жизнь, еще мало им испытанная, жизнь только что расцветающая и не дожившая до терний, разумеется, улыбалась ему и обольщала его. В шуточной предсмертной беседе его с самим собою отзывается и звучит нота силы характера и себялюбивой скорби.

Другой товарищ наш, Смирнов, встретил также молодую

смерть на этом злополучном приступе. Милый образ его возбуждает во мне особенно сочувственное и умилительное воспоминание. Все было в нем привлекательно: красивая наружность, выразительные глаза, в лице свежесть и румянец цветущей молодости, стройный, статный рост, золотистого оттенка волосы. Внутренние качества превышали внешние: любезный нрав, радушная откровенность, чистая и возвышенная душа, целомудрие и какое-то нравственное благоухание веяло от него. Он, без сомнения, был чистейшее существо из многолюдного нашего кружка. Был он веселого настроения, но и мечтателен с поэтическим оттенком. Он влюблен был в поэзию Оссиана и вместе с тем в кавалергардский мундир. Любимую мечтою его, задушевным желанием было определиться в этот полк тотчас по выходе из пансиона. С глазами зависти смотрел он на молодого, красивого Чернышева, впоследствии князя и военного министра, которого встречали мы в Аничковской церкви, куда ходили мы по воскресеньям и праздникам. Смирнов имел склонность к рисованию. В свободные от уроков часы любил он рисовать сцены из оссиановских поэм. Но Фингалы и другие герои, плывшие в облаках с арфою в руке, были всегда и обязательно облечены в толпую кавалергардскую амуницию. Он с первого раза полюбил меня нежною и руководительною любовью старшего брата. Я также полюбил его с нежностью, но и подчиненностию. Наставления, предостережения его носили отпечаток чистой нравственности, заботливости и друже-

ства. Из него, без сомнения, вышел бы замечательный человек, образец всего чистого и прекрасного в сфере нравственной и житейской деятельности. Собственно для меня был бы он другим Жуковским. Лучшей и вернейшей похвалы, сердечнейших поминок о нем придумать не могу, как сближением имени его с именем для меня дорогим и незабвенным.

В этой среде избранных товарищей ум мой и вообще настроение мое развивались и созревали не по годам, может быть, в некотором отношении, даже слишком рано. Но это, кажется, так в русской натуре: или бесплодие, или скороспелки. Литература, особенно русская, была не чужда этому кружку. Пушкина еще не было, Жуковского еще почти не было, Крылова также. Державин, Карамзин, Дмитриев были нашими любимыми руководителями и просветителями. Я был еще профан или новичок-послушник в этой области. Многие из товарищей знали наизусть лучшие строфы Державина, басни, а еще более сказки Дмитриева. Все это пробуждало мои литературные наклонности. Внешние голоса доходили также до наших монастырских келий. По воскресеньям и большим праздникам воспитанники отпускались к родным и к лицам, известным начальству нашему. У меня в Петербурге близких родственников не было. По большей части оставался я, подобно другим безродным товарищам, дома. В утешение водили нас в близкий Летний сад. Летом ректор, патер Чиж, который особенно любил и как-то отличал меня, иногда брал меня и на дачу, в семейство голланд-

ского купца, который имел магазин в доме, принадлежавшем римской церкви. Там кроме особого и лакомого угощения забавлялся я игрою в кегли. Вечером, когда возвращались домой счастливы, которые провели день в семейном кругу или в большом свете, вестям и рассказам не было конца. К ним я жадно прислушивался. Зародыши будущего мирянина и светского человека пробуждались во мне. Это также было нечто вроде школы житейской и литературной. Дети и отроки вообще чутки и зорки. Например, мы из окон подметили, что в известный час, почти ежедневно, император проезжал верхом по переулку вдоль дома нашего. Навстречу, как по заведенному порядку, выезжала карета. И лошадь государя и карета, в которой сидела красивая дама, останавливались друг пред другом. По-видимому, на несколько минут завязывался разговор. Разумеется, все это подглядывали мы осторожно и тайком. Тогда не были еще в ходу исторические романы. Вальтер Скотт не проложил им еще пути в литературе. Но мы, как-то самоучкою, дошли до понятия, что могут быть исторические и державные романы.

Здесь прощусь с товарищами веселого возраста жизни моей. Мы вместе расцветали. Такая пора оставляет по себе в сердечной памяти глубоко грустное, но и сладостное впечатление. Скажу с Гете и Жуковским:

Не говори с тоской: их нет!

А с благодарностию: были.



Простившись с друзьями, не могу воздержаться от сердечной потребности помянуть также добрым словом и теплое гнездо, которое некогда нас собрало и приютило. И здесь, вероятно, тешу я себя одного, да и то с каким-то самоотвержением. Здесь вступаю на жгучую почву, но я давно опален и обстрелян. Огня не боюсь. Знаю, что в настоящее время иезуиты не в чести, не только на Западе, но и у нас, вероятно более из подражания. Мы довольно склонны разворачивать зонтики свои (на нашем богатом языке нет, между прочим, слова *parapluie*, *Begenschirm*), когда идет дождь, например, в Париже, Пословица говорит: лежачего не бьют. Кажется, тем паче не следовало бы бить отсутствующего, или даже не бывалого, а мы все-таки бьем по пустому месту. Не пускаюсь в отыскание и в исследование иезуитских действий и влияний на Римском церковном Западе. Это не мое дело. Но спрошу: где у нас эти пугала, эти опасные и грозные иезуиты, которые, как тени и призраки, пробегают еще по страницам печати нашей? Где, за редкими, совершенно личными исключениями, искать их в последнем столетии истории нашей? Где вредные для государственного объединения нашего обращения, или совращения с пути православия единоверцев ваших? Когда и были они, то много ли их? Скажем: за глаза несколько десятков, считая в них и женщин. Стоит ли из этого горячиться и бить в набат, как при пожаре, или нашествии неприятеля? Стоит ли говорить и писать об этом? Это

капля в море, или капля, выщепенная из моря. А сколько пролито было чернил ради этой капли. В числе их были и умные и бойкие, но на какой конец? Мудрено объяснить. Не вступаюсь за отщепенцев, не берусь оправдывать их. Готов я согласиться, что некоторые отреклись от Церкви по легкомыслию, по неведению сущности Церкви нашей; другие, если можно употребить подобное выражение в таком случае, обратились по моде. Знаю женщин, которые оримлянились, когда было поветрие на обращение, и возвратились в лоно православной церкви, когда поветрие и мода миновались!

Но в их числе есть и люди, которые поступили по совести, особенно из тех, которые после посвятили себя духовной и монашеской жизни. Есть и такие в среде отпадших братьев наших. Религиозная совесть имеет свои тайны, которые легко и необдуманно оценивать и в особенности порочить нельзя. Во всяком случае не дело христиански-евангельское закидывать камнями и отпадших и блуждающих братьев. Молитесь за них, если вам их жаль, но не поносите их. Остроумия и перунов ваших не расточайте на них.

Вообще нельзя не заметить, что у нас бывают охотники создавать пред собою и пред обществом чудовищные страшилища, чтобы доставить себе удовольствие ратовать против них и протыкать их своими спасительными перьями. Эта способность пугать и запугивать, бывает иногда очень забавна, но бывает часто и вредна. В таком настроении духа противоречия неизбежны. Высокомерие и малодушие, трусли-

вость и задорливость сталкиваются на каждом шагу. То ставят Россию так высоко, что она вне всех возможных покушений на нее, то уже так низко, что она, тщедушная, разлетится в прах, при малейшем враждебном дуновении. Мы уже не говорим, что врага шапками закидаем, но еще думаем, что можем Европу закидать словами. В политике и в литературе анахронизмы приводят к ошибочным заключениям. Пожалуй, найдутся у нас публицисты, которые начнут пугать нас набегам Печенегов. По мне иезуиты у нас те же Печенег. Но, после долгого отступления, пора возвратиться мне к своим собственным иезуитам. Эти иезуиты, начиная от ректора, патера Чижа, были – по крайней мере, в мое, или наше время – просвещенные, внимательные и добросовестные наставники. Уровень преподавания их был возвышен. Желавшие учиться хорошо и основательно имели все способы к тому и хорошо обучились; примером служит, между прочим, Северин. Обращение наставников с воспитанниками было не излишне строгое: более родительское, семейное. Допускалась некоторая свобода мнений и речи. Однажды кто-то сказал, во время класса, что из всех иезуитов любит он наиболее Грессета. Известно, что этот французский поэт принадлежал иезуитскому ордену и вышел из него. Шутка остряка была и принята шуткою. Меня товарищи также вызывали на подобные выходки. «Вяземский, отпусти *bon mots*», – говорили мне. Моих тогдашних *bons mots* я, по совести, не помню. Но упоминаю о том мимоходом: видно, я тогда уже про-

мышлял и эту *устною литературой*, которую так любезно приписывал мне граф Орлов-Давыдов, в приветствии своем на пятидесятилетнем моем юбилее. В числе воспитанников был я далеко не из лучших; но, не знаю почему, был одним из числа любимейших духовным начальством. Совсем тем могу сказать утвердительно и добросовестно, что никогда не слыхал я ни слова, никогда не замечал малейшего намека, которые могли бы указать, что меня или других желали переманить на свою сторону. Никогда не было попытки внушить, что Римская Церковь выше и душеспасительней Православной. А ум мой и тогда был уже настолько догадлив, что он, понял бы самые извилистые и хитрые подступы. Никакого различия не было в обращении с воспитанниками обоих исповеданий. Паписты не пользовались пред нами никакими *прерогативами* и льготами. В костел нас не водили. По воскресным и праздничным дням бывали мы в Русской церкви. Великим постом мы говели, как следует. Правда, в течение года держались мы не Русских постных дней, то есть не среды и пятницы, а Римских. По пятницам и субботам угощали нас католическим пощением: говядины не было за общею трапезою. Но эта желудочная пропаганда, кажется, не могла иметь большого влияния на умы и религиозные чувства наши. Так было в мое время. Не отвечаю за то, что могло быть после. Говорили позднее, что иезуиты завербовали в свою веру молодого воспитанника князя Голицына, и к тому же племянника князя Александра Николае-

вича, обер-прокурора святейшего синода. Если оно так, то нельзя не сознаться, что пресловутая иезуитская хитрость и пронырливость на этот раз ужасно опростоволосилась. Выбор их был очень неудачен. Как бы то ни было, это совращение, действительное или мнимое, послужило отчасти падению и изгнанию иезуитского ордена из России. Не тем будь он помянут, приятель наш, Александр Тургенев, был одним из деятельных орудий сего почти государственного переворота, *de se coup d'état à la Pombal*. Изгнание их, или похищение в ночное время, сопровождалось довольно крутыми, и вовсе ненужными полицейскими мерами. Кроткое правление императора Александра I отступило в этом случае от *легальности*, а чем необходимее бывают меры строгости, тем более при исполнении оных требуется бдительное и точное соблюдение *легальности*, то есть законности. Поспешность насилия, заносчивая страстность не совместимы с законом. Не смотря на дружбу свою к Тургеневу, Карамзин не одобрял вообще ни этой меры, ни приемов, с которыми она совершилась. Консервативный Карамзин был в этом случае либеральнее приятеля своего, либерала Тургенева. По выходе из пансиона был я в переписке с патером Чижом.

Этик заключается период отрочества моего. Здесь рассталюсь и с иезуитами. Гораздо позднее встречался я на Востоке с некоторыми личностями, принадлежавшими ордену. Всегда удивлялся я их деятельности и самоотвержению. Разбросанные поодиночке, в местах пустынных, в Арабских бедных

селениях, преподаватели Евангелия и грамотности, бодро и плодотворно носили они свой крест и совершали трудный подвиг. Римская церковь может быть властолюбива; но этих отдельных миссионеров и апостолов христианства обвинять в властолюбии нельзя. Они самоотверженные и бескорыстные послушники. Забавно же обвинять их в том, что преподают они Римское законоучение, а не православное. Между тем, найдутся люди, которые ставят им и это в преступление, и за это ненавидят их. Не забывают ли они в пылу православия своего, что евангелие писано для всех народов, для всех христиан, а не в пользу того или другого вероисповедания и прихода.

## V

Из учебного паломничества возвратился я в Москву, в родительский дом – еще отроком по возрасту, но почти уже молодым человеком по выправке и развитию. Должно прибавить, что из иезуитского пансиона перешел я, не на долгое время, в пансион, учрежденный в Петербурге при новообразованном педагогическом институте. Это, кажется, было создание Ник. Ник. Новосильцева. Директором заведения был Энгельбах. Там встретился я с некоторыми товарищами, также перебежчиками из-под иезуитского крова. Не хочу и не могу сказать ничего худого о моем там пребывании; но не могу сказать и ничего особенно хорошего. Учебный и

умственный уровень заведения был вообще ниже иезуитско-го как по преподавателям, так и в отношении к ученикам. Помню только одного учителя французского языка, Брошьё. Он умел, как француз, придавать урокам своим оживление и разнообразие: он был с нами разговорчив. Для одного из таких уроков перевели статью Карамзина под именем «Деревня». В одном месте говорит он, что предпочитает картины природы картинам великих живописцев. «Если так, – сказал мне Брошьё, – и если у родственника вашего есть такие картины, то попросите его мне их отдать: я их предпочитаю природе». В 1806 году Карамзин прислал мне из Москвы, уже как питомцу муз, стихотворение свое: «Песнь воинов». Эта присылка меня очень возвысила в глазах моих товарищей. «Cos vers sont-ils bien ronflants?»<sup>7</sup> – спросил меня Брошьё. Тут высказался и француз, и литератор, и щекотливый француз-патриот. Гораздо позднее этот Брошьё был хорошо известен Петербургу, особенно посещавшим графа Алексея Федоровича Орлова, у которого он был близким и домашним человеком: вероятно, также по пансионским преданиям учебного заведения аббата Никола.

В новой моей ученической среде я также не по чину и не по возрасту вращался с поколением, меня опередившим. Не знаю, как это случилось, но я познакомился и сблизился с некоторыми из педагогических студентов. Мы жили с ними на одном дворе, но совершенно отдельно. В памяти моей со-

---

<sup>7</sup> Не оглушают ли эти стихи? (фр.).

хранился один из них, по имени *Бобриков*, или что-то на это похожее. Помнится мне, принадлежал он, хотя и с побочной стороны, семейству графа Бобринского. Он познакомил меня с стихотворениями французского поэта, Парни, которого элегии впоследствии были так хорошо и так нежно переданы Батюшковым на русском языке. Помню, что по этому поводу прозвал я бедного Батюшкова, в шуточном послании:

Певец чужих Элеонор.

Домой возвратился я благополучно; хотя со времени отсутствия моего отец не очень имел повод утешать себя вещами об успехах моих по наукам и о моем поведении, принят был я им ласково и вообще семейством нежно и радостно. Упомянул я о поведении своем: благодаря бога, ничего особенно порочного по было; но были шалости и предосудительные уклонения. В пребывании моем во втором пансионе пользовался я большою и чрезмерною свободою в вакантные дни: ходил я один в театр, в маскарады. По преданию, а не по памяти знаю, что однажды в театре я очень шумел и бурлил, — из чего и для чего, сказать не умею. Но приятельница отца моего Екат. Влад. Апраксина подметила это из ложи своей и донесла отцу. Может быть, вследствие этого и вызвали меня обратно в Москву.

Как известно, родительский дом был одним из гостеприимнейших. Гости его принадлежали более или менее к раз-



ряду людей образованных и *разговорчивых*, в смысле и значении разговора дельного, просвещенного и приятного. Подобные дома вывелись или выводятся не только у нас, но вообще и во всей Европе. Жаль: такие дома были практической и дополнительной школой для молодежи. В этой атмосфере было много образовательной жизни и силы, много было и литературного. Худо верую в литературу, которая рождается и сосредоточивается в самой себе, – вне больших житейских течений. Что ни говори о так называемых *салонах*, но они бывают нередко произрастительными и плодотворными почвами. Блестящая и многознаменательная французская литература последней половины XVIII столетия расцвела и созрела на этой почве. Как бы то ни было, в подобной умственной среде понятия и наклонности мои еще более развились. В доме отцовском женский элемент господствовал наравне с мужским. Тут, в сфере умственного соревнования, проглядывало между двумя полами истинное *равноправие*, которое женщины ищут ныне в химических лабораториях, в фельдшерских и анатомических театрах.

Разумеется, женский элемент, который нашел я в доме нашем, не праздно отозвался во мне и в молодом и впечатлительном сердце моем. Впрочем, по домашним преданиям, рано начал я быть Сердечкиным: именно *Сердечкиным* – в смысле более платонической, нежели материальной любви. Так вообще было со мною и после, и всегда. Но вот детская легенда моя. Когда ехали мы в Нижний Новгород, куда отец

был назначен генерал-губернатором, незадолго до кончины императрицы, мы на дороге где-то и у кого-то остановились переночевать. В доме была дочка, которая, так гласит предание, очень мне понравилась и за которую я весь вечер ухаживал. Было мне тогда года четыре. На другой день, когда семейство наше собралось в дальнейший путь, ищут меня, а меня нет. Наконец отыскивают где-то под диваном, куда залез и запрятался я, чтобы не расставаться с маленьким моим кумирчиком. Не ясно помню этот романический эпизод, но домашние удостоверяли в правдивости его. Кстати скажешь: *se non e vero, e ben trovato*<sup>8</sup>. По системе вероятностей и правдоподобия и судя *a posteriori*<sup>9</sup>, готов я согласиться, что оно так и было. После таких ранних и с продолжениями впредь романических приключений на деле как не пришло мне никогда в голову написать вымышленный роман? Подите объясните. Впрочем, я очень взыскателен и не легко удовлетворяем по части романов. На всем веку своем едва ли шесть прочитал я с полным удовольствием и никогда не признавал в себе сил и достаточного дарования, чтобы пополнить это число седьмым. Удачно и вполне удовлетворительно, то есть упоительно, написанный роман есть, по мне, самое увлекательное и потрясающее чтение. Это почти событие в жизни. С подобным романом сживаешься не только во время чтения, но живешь им долго и после чтения. Романы второсте-

---

<sup>8</sup> Если и неверно, то хорошо придумано (*ит.*).

<sup>9</sup> По фактам (*лат.*).

пенные, второй руки, плоды одной деятельной и *рутинной* посредственности, эти плоды могут быть более или менее лакомые, судя по вкусам; но с дерева не срываю их и за столом до них не дотрогиваюсь.

Со вступлением Карамзина в семейство наше русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей. Пушкин, еще до отъезда своего уже отдавший пером Дмитриева отчет в путевых впечатлениях своих, только что возвратился тогда из Парижа. Парижем от него так в веяло. Одет он был с парижской иголки с головы до ног. Прическа à la Titus, углаженная, умащенная древним маслом, *huile antique*. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою. Не умею определить: смотрел ли я на него с благоговением и завистью или с оттенком насмешливости. Вероятно, было и то и другое. Но мог ли я думать тогда, что, спустя несколько годов, будем мы на *ты* и в самой короткой дружеской связи? Дмитриев говаривал о нем, что он кончит тем, что будет дружен с одними грудными младенцами, потому что чем более стареет, тем все более сближается с новейшими поколениями. Грешно было бы мне поминать его слегка, а паче того насмешливо. Он был приятный, вовсе не дюжинный стихотворец. Добр он был до бесконечности, до смешного; но этот смех ему не в укор. Дмитриев верно изоб-

разил его в шутовском стихотворении своем, говоря за него: *я, право, добр, готов сердечно обнять весь свет*<sup>10</sup>. Меня любил он с особенною нежностью, могу сказать, с балующею слабостью. Зять его, Солнцев, говорил, что сердечные привязанности его делятся на три степени: первая – сестра его Анна Львовна, вторая – Вяземский, третья – однобортный фрак, который выкроил он из старого сюртука, по новомодному покрою фрака, привезенного в Москву Павлом Ржевским.

Не знаю, почему в этот список просится один Машков, маленький, горбатый. Казалось мне, что отец очень охотно разговаривал с ним; но в моих глазах, вероятно, горб его был главным attraction<sup>11</sup>. Впрочем, помнится мне, что он был дядя поэта Майкова. Однако, может быть, и ошибаюсь.

В ряду литературной молодежи был тут и новичок, которого отличили отец мой и Карамзин. Он даже запросто обедал у нас: в то время это было исключение. В старину обедали семейно, а ужинали в гостиных с гостями. Ужин был завершение, увенчание заботливого дня; послеужинный разговор был свободнее и мог быть продолжительнее разговора послеобеденного. Теперь съезжаются за пять минут до обеда и обыкновенно разъезжаются после кофе. Выгоды и прелести общежития и разговорчивости от этого страдают.

---

<sup>10</sup> Таков смысл; самых стихов в точности не припомню. (*Примеч. П. А. Вяземского.*)

<sup>11</sup> Привлекательным свойством (*фр.*).

Имени новичка нашего в точности не помню, чуть не Бошняк ли? может быть, потомок Саратовского коменданта, с которым возился и боролся Державин во время пугачевщины. Как бы то ни было, он занимался естественными науками, в особенности монографией паука. Вероятно, в нынешнее время занимался бы он и потрошением лягушек. Закончу смотр и переключку свою заметкою довольно забавною, заметкою совершенно семейною и домашнею. Сестра моя, впоследствии жена князя Алексея Григорьевича Щербатова, – Жуковский посвятил памяти ее несколько трогательных стихов в «Певце в стане русских воинов», – сестра моя, старшая меня тремя годами, и я были вовсе не довольны водворением Карамзина в наше семейство. В нас таилась глухая оппозиция против этого брака: детские сочувствия наши были на стороне армейского майора, помнится, Струкова, который был несчастным соперником Карамзина. Он был к нам внимателен и ласков; вероятно, он заискивал наш союз ценою субсидий: гостинцами и конфектами. Карамзин не обращал внимания на союзников. Забавно, что, когда брак был уже решен, мы с сестрою изливали грусть свою стихами самого Карамзина. Вечером ходили мы по длинному коридору и вполголоса, с сжатым сердцем и слезами на глазах, от лица Струкова мурлыкали:

Кто мог любить так страстно,  
Как я любил тебя?

Но я вздыхал напрасно,  
Томил, крушил себя.

Увы! насильно милым  
Не будешь никому...

Таким образом, вооружились мы против Карамзина собственным его оружием. Но у нас, детей, велись с ним и другие счеты, и по другой причине грызлись у нас зубы на него: именно зубы. В те редкие вечера, когда салоны наши не переполнялись посетителями, а было два-три человека, иногда и никого, отец оставлял нас, детей, ужинать с собою, обыкновенно в одиннадцатом часу. Понятно, что эти дни дорого ценились нами. Не знаю, по какому случаю и по каким соображениям, Карамзин бывал гостем нашим именно в эти исключительные дни. Отец был великий устный следователь по вопросам метафизическим и политическим; сказывали мне, бывал он иногда и очень парадоксальный, но и блестящий спорщик. Беседы и прения его с Карамзиным длились без конца. В ожидании вожделенного ужина мы дремали в соседней комнате, а ужин был все отлагаем позднее и позднее. Князь Яков Иванович Лобанов говаривал, что когда отец мой, в жару спора, нанижет себе на пальцы несколько соленых крендельков, которые подавались закускою при водке, то беда: ужин непременно успеет остыть. Он же говорил: к Вяземскому на ужин никогда не опоздаешь; повар его только в полночь ходит закупать провизию. Эти домашние за-

поздалые ужины худо располагали пас к Карамзину. Мы детским чутьем угадывали, что отец не разговаривался бы так долго с майором Струковым. Поэтому гувернер мой, француз Дандилли, прозвал Карамзина: *monsieur minuit et demi*<sup>12</sup>; долго в детской нашей ходил он под этим прозвищем. Впрочем, кажется, он несколько задобрил меня, подарив первые часы, которыми пришлось мне щеголять. «Для молодого человека всего нужнее уметь узнать время», – сказал он, вручая мне свой подарок.

## VI

С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика; Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этою участью. Берегитесь, – говаривал он, – нет никого жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей. Уже позднее, и именно в 1816 году, примирился он с метроманиею моею. Александр Тургенев давал в Петербурге вечер в честь его. Все арзамасцы были налицо: были литераторы и другого лагеря. Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их,

---

<sup>12</sup> Господин полуночник (*фр.*).

Карамзин сказал мне: «Теперь уже не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с богом». На этом вечере познакомился я с Крыловым. Он также был один из благоприветливых слушателей и просил меня повторить чтение одного из стихотворений, которое наиболее понравилось ему. Эти два знака отличия, полученные мною на поле битвы, порадовали меня и польстили самолюбию моему. Они же порешили и, так сказать, узаконили участь мою. О радость! о восторг! и я, и я пиит! – мог сказать я с простодушным Василием Львовичем. Жребий брошен. С того дня признал я и себя сочинителем. И пошла писать! – то есть: пиши пропало! скажет один из моих строгих критиков. – Может быть, оно и так, но есть еще другая поговорка: что напишешь пером, не вырубишь и топором. И вот почему в добрый или худой час, – все едино, появляюсь я на печатной скамье подсудимого пред судилищем почтеннейшей публики.

## VII

Жуковский, мой благосклонный, но, когда нужно, и строгий судья, сказал, что могу присвоить себе стих Буало:

*Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.*

Кажется, можно приблизительно перевести на русский язык сей стих следующим образом:



И стих мой, так иль сяк, а что-нибудь да скажет.

Нечего и говорить, что ни Жуковский не величал меня, ни я себя не величаю знаменитым французским сатириком. Но я думаю, что определение Жуковского довольно верно. Оно мне в похвалу и в укор. Заявляю здесь сказанное мною однажды навсегда. Ныне сужу себя и говорю о себе, как о постороннем. И в самом деле, не в стороне ли я от самого себя после всего так долго пережитого мною? Было кем-то сказано, что человек зрелых лет должен быть сам врачом своим, то есть знать сложение свое, темперамент свой, знать, в гигиеническом отношении, что может быть ему полезно, что вредно. То же можно применить и к нравственному распознаванию себя. В некотором возрасте человек лучший свой судия, если, впрочем, не одержим он неизлечимую болезнью самообольщения. Человек уже на покое, или на последнем повороте жизни, должен и может смотреть без лицепрятия на дела своих *давно минувших лет*. Эти дела для него уже *преданья старины глубокой*. Он вслушивается в них, а пересочинить их не может.

Возвратимся к сказанному Жуковским. Весь вопрос здесь заключается в том, чего более: *du bien ou du mal*<sup>13</sup>, более ли сказано *так* или более *сяк*. Но я плохой математик: итогов выводить не буду. Предоставляю этот труд журнальным бух-

---

<sup>13</sup> Хорошего или плохого (*фр.*).

галтерам. Сам же скажу, что должно быть довольно того и другого. В стихах и в прозе у меня много неровностей – и нельзя им не быть. Я никогда не писал прилежно, постоянно; никогда не изучал я систематически языка нашего. Как певцы-самоучки, писал я более по слуху. Писал я более урывками, под вдохновением или под осязанием мысли и чувства. Писал я, когда что-нибудь внутреннее или внешнее заживо задирало меня, когда мне именно хотелось *сказать* или *высказать* что-нибудь, так или сяк, опять все равно. Натура моя довольно живучая и произрастительная, но не трудолюбивая; напротив, труд пугает ее, она сжимается под давлением его. А что ни говори, труд есть родник, двигатель всякого положительного успеха и возможного усовершенствования. Без терпения труда быть не может. Бюффон сказал и доказал, что терпение есть одно из главных свойств гения. Если так, то как далек я, боже мой, от гениальности. У меня литература была всегда животрепещущею склонностью, более зазывом, нежели призванием. Если и было это призвание, то охотно сознаюсь, что я не выдержал, не вполне оправдал его. Никогда, или так редко, что не стоит упоминать того, не вел я жизни литературной, как вели ее, например, Жуковский, Пушкин. О Карамзине уже не говорю: он был воплощенный труд, воплощенное терпение. Я более предавался течению жизни: сперва молодости, с увлечениями ее; позднее более или менее сухим обязанностям службы, личным заботам, горьким испытаниям жизни, частым и

вынужденным странничествам. К тому же, нечего таить, какая-то врожденная беспечность, просто лень никогда не допускали пера быть постоянною принадлежностью руки моей. А перо взыскательно: оно требует прилежного ухода за собою; без этого оно непослушно и артачливо. При этом приятели мои еще дивились, что мог я столько написать при своей развлеченной жизни, могли бы они сказать и отвлеченной; много из жизни моей пошло и на внутренние, созерцательные и мечтательные думы. Много прожил я жизнью одинокою, жизнью про себя. Знаю, язык мой не всегда правилен; не довольно внимательно и строго покоряюсь законам его. Увлекаюсь не желанием, а скорее бессознательною потребностью сказать иначе, чем сказали бы другие. Это может быть достоинством, но может быть и погрешностью, быть силою, но и немощью. Александр Тургенев, в одном письме своем из напечатанных по смерти его, очень невыгодно и с какою-то досадою отзывается об этом наездничестве пера моего. В укоризне его есть доля правды; но Тургенев в литературе принадлежал *пуриланской* школе, которой, между нами, главным представителем был Блудов. Сознаюсь, я от некоторых неологизмов в словах и в слоге не прочь. Разнообразие и разнозвучие, в меру и с чутьем, нужны и цену свою имеют. Так же и Карамзин, в письме к Дмитриеву, говорит, что должно выдрать бы мне уши за перевод мой речи, произнесенной императором Александром на Варшавском сейме; разумеется, обвинение падает на неправильность языка.

Здесь есть некоторый повод к оправданию. Не вся речь переведена мною. Новосильцев, около полночи, прислал в канцелярию французский подлинник для немедленного перевода его на русский язык. Многие слова политического значения, выражения чисто конституционные были нововведениями в русском изложении. Надобно было над некоторыми призадумываться. Для скорости мы разобрали речь по клочкам и разделили их между собою, чиновниками канцелярии. Каждый переводил, как умел. Но я остался как-то официальным и ответственным переводчиком речи. Государь был переводом доволен; помню, что на обеде у князя Зайончева Государь милостиво благодарил меня за перевод. Кстати скажу, что и после был я в канцелярии Новосильцова главным действующим лицом по редакционной Русской части. Были труды гораздо важнее перевода сеймовой речи. В канцелярии был у нас юрист и публицист, француз Deschamps. Ему Новосильцов передавал соображения и мысли свои: француз, набивший руку себе во Франции в изготовлении и редакции подобных проектов, писал их, так сказать, прямо набело. Переливка этих работ в Русские формы наложена была на меня. В один из приездов моих в Петербург из Варшавы император удостоил меня особенною послеобеденною аудиенциею в Каменноостровском дворце. С полчаса, если не более, изволил говорить он о трудах наших по канцелярии Новосильцова, о воззрениях своих на Польшу и на другие политические события и соображения.

Тут косвенно были, или по крайней мере так казалось мне, маленькие, не буквально выраженные, но понятные намеки на противоположные мысли Карамзина. Например, Государем было сказано: «*Quelques uns pensent, que les désordres dont nous sommes parfois témoins, sont inhérents aux idées libérales: tandis qu'ils ne sont que des abus de ces idées et de ces principes*». Государь говорил также о предположениях своих в отношении к будущему государственному устройству России. Говорил он все время по-французски: речь его была стройна, плавна и отличалась изящностью и ясностью; день, ознаменованный этим разговором, остается историческим днем в жизни моей. Перевод слов: *constitution* и *libéral* – словами: *государственное уложение* и *законно-свободный*, принадлежат самому Государю. При конце аудиенции мог я, между прочим, убедиться в умении Государя, или, лучше сказать, в прирожденной ему способности, часто малозначащим словом польстить человеку и порадовать его лично и приветливою внимательностью.

Я приехал из Варшавы чрез Ригу. Песчаная, утомительная, продолжительная езда от Митавы вывела меня из терпения. Я был зол на себя и на дорогу, которую выбрал. В Риге хотели обратить внимание мое на картину города, Двины, моста, сплошь, как перилами, окаймленного коммерческими судами. Но я ничего ни слышать, ни видеть не хотел; в отместку Митавским пескам, я крепко зажмурил глаза: так и проехал. Видно, Карамзин рассказал Государю эту выходку

эксцентрическую. Отпуская меня, Император, с своею ласковою и выразительною улыбкою, спросил меня: а что, вы и теперь поедете на Ригу?

Забыл я сказать, что Новосильцов имел намерение отправить меня прямо к Государю с изготовленною работою нашею, для объяснений по редакции, если Государь потребовал бы их. Но канцелярские интриги этому помешали. Уже позднее, и то совершенно случайно, довелось мне иметь вышеупомянутую беседу, для меня достопамятную. Но нет медали, у которой не было бы своей обратной стороны. Где-нибудь и когда-нибудь, если Бог даст, расскажу, как благовольтельное обращение Государя со мною, ни по летам моим, ни по официальному служебному положению моему, не имевшим на то права, обратилось позднее в неудовольствие на меня.

Впрочем, скажу заранее, что тут было много моей вины, то есть недосмотрительности, неосторожности, а еще более виноваты были в том посторонние влияния и неблагоприятные обстоятельства. Государь не мог поступить иначе: он должен был вызвать меня из Варшавы; но в то же время велел он сказать мне чрез Карамзина, что всякая другая служба остается для меня вполне открытою.

## VIII

Вышесказанное мною вообще относится до пребывания

моего в Варшаве и до некоторых обстоятельств, вытекающих из этого пребывания. Хочется мне несколько остановиться на этом и определить Варшавский период жизни моей, тем более, что он имел довольно важное влияние и на многие последовавшие за ним годы. К тому же, не был он чужд и литературной деятельности моей. По распусчении Московского ополчения, оставался я в Москве в службе, не в службе, в отставке, не в отставке, а причисленный по прежнему к межевой канцелярии, или, вернее сказать, не отчисленным от нея. Начальник сей канцелярии, сенатор Обресков, при котором я служил, умер в 1814 году. Время было не до канцелярских строгих порядков и взысканий; но я не думал выяснять свое служебное положение: ни служба, ни начальство не заботились обо мне. Наступил 1817 год. Приехал в Москву генерал, Мих. Мих. Бороздин, в свое время блестящий воин на полях сражений и равно блестящее лице в салонах обеих столиц. В детстве моем заглядывался я на него, и любовался красивою и мужественною наружностью и отличающейся от других изящною и щегольскою осанкою. Он был один из ближайших приятелей отца моего, который шутя прозвал его Неаполитанским королем, по поводу предводительства его Русскими войсками в Неаполе в царствование Императора Павла. Заметим уже кстати и мимоходом, что отец прозвал вместе с ним Польским королем и известного в царствование Екатерины II Корсакова, который очень дорожил орденом Польского Белого Орла и никогда не снимал его с себя.

Отец мой говаривал, что ему очень приятно и лестно играть у себя дома в бостон с двумя величествами. По приезде в Москву Бороздин отыскал меня и очень обласкал, как сына приятеля своего. Он дружески укорял меня в тунеядстве моем и говорил, что в молодых годах сыну Андрея Ивановича стыдно бить баклуши и быть каким-то Митрофанушкою, недорослем в обществе. К тому же времени приехал из Варшавы и Новосильцов, вызванный Государем, который тогда со всем Двором имел пребывание в Москве. Бороздин был приятелем и Новосильцова. Вероятно, говорил он ему обо мне; однажды пригласил он меня обедать с Новосильцовым, представил и, так сказать, без особенных предварительных объяснений со мною, передал меня ему на руки. Новосильцов благосклонно принял меня: участь моя была решена, если не против воли моей, то так сказать почти мимо воли моей, но однако же не без признательности к участию, принятому во мне старым приятелем отца. При расставании моем с Москвою и беззаботною жизнью моею написал я стихотворение: «Прощание с халатом», которое было тогда же напечатано в журнале *Сын Отечества* и имело некоторый успех. До Варшавы знал я почти одну Москву: в Петербург наезжал я только на короткое время, за границу же не бывал. Варшава, когда блестящая, не только *мирная*, но и празднующую перерождение свое, повеяла на меня незнакомым, новым воздухом. Я скоро и легко акклиматизировался, да иначе и быть не могло. Почин мой в Варшаве был самый бла-



гоприятный. В Новосильцове нашел я начальника, которого лучше и придумать нельзя, начальника, чуждого всякого начальствования. С первых дней приезда моего, я сделался у него домашним; в течение нескольких лет, до дня отъезда моего, эти отношения ни на один день, ни на одну минуту не изменялись, Даже и после, когда уведомлял он меня, по Высочайшему повелению, что не должен и не могу я возвращаться в Варшаву, официальное письмо его запечатлено было чувством благорасположения его во мне. Государь, в тоже самое время приехавший из Москвы для открытия первого Польского сейма, был во мне отменно внимателен и милостив. Он даже изволил удостоить жену и меня своим августейшим посещением. Правда, сказали мне тогда, что царское посещение относится вообще к хозяйке дома, а не к хозяину, который, как отцы при крестинах детей своих, должен блистать отсутствием своим; но бессознательное нарушение мое придворного этикета и приличия сошло благополучно. Государь был очень весел и разговорчив. Между прочим изволил он спросить меня: прочел ли я историю Карамзина, которая только что вышла в печати. На мой ответ, что еще не успел я прочесть, Государь, с видом какого-то самодовольства, сказал мне: «А я прочел ее с начала до конца». Еще до Варшавы Государь явил нам знак благоволения своего. Дорогою, где-то в Царстве Польском, обогнал он нас, узнал, велел коляске своей остановиться и вышел из нее, на встречу к нам, также вышедшим из кареты. Государь был бодр, свеж

и тщательно и красиво убран и одет, как будто бы выходил из уборной комнаты своей в Зимнем дворце. Я ехал больной, чуть ли не в халате, не мытый, не бритый, неряшливый. Дорогою, перед тем, пролежал я, больной простудою и колющем в боку и в груди, в каком-то местечке; нем не было никаких пособий и помощи: ни доктора, ни хорошей воды, ни белого хлеба, ни уксуса. Как-то уже дня три, или четыре спустя, гродненский губернатор, узнав о болезни моей, прислал нам белый хлеб, лимоны и другие припасы и снадобья. На другой день приезда нашего в Варшаву Государь изволил прислать нам фельдъегеря осведомиться о здоровьи моем. Он же уведомил и Новосильцова, что новый чиновник его едет к нему больной. Для людей, опасющихся начинать и предпринимать что-нибудь в понедельник, замечу, что мой пример может подкрепить их суеверье. В Москве все было уже готово к нашему отъезду в Варшаву. Но теща моя, П. Ю. Кологривова, давала бал в воскресенье, в честь Государя и царской фамилии. Неловко было уехать до бала. А между тем скорый отъезд Государя и предварительный отъезд свиты его угрожали вам препятствиями и частыми и долгими остановками по почтовому тракту. Я сам питаю некоторое почтительное отвращение в отношении к понедельнику. Таким образом детей наших отправил я вперед в воскресенье, чтобы застраховать их от худого наития понедельничного глаза, а сам предал себя на волю Божию и решил, что мы выедем тотчас после бала, то есть на рассвете понедельни-

ка. Так и было. Этот крутой переворот из бальных платьев в дорожные, из блеска многолюдного праздника в дорожную повозку внушил мне тут же стихотворение, *Ухаб*, которое, помнится, напечатано в *Сыне Отечества*. Начинается оно так:

Над кем судьбина не шутила,  
И кто проказ ее не раб?  
Слепая приговор скрепила,  
И с бала я попал в ухаб.  
В ухабе, сидя как в берлоге,  
Я на досуге рассуждал.  
И в жизни, как и на дороге,  
Ухабов много насчитал.

Далее не помню.

Но возвратимся к зловещему понедельнику. Не только крепко захворал я дорогою, но в Несвиже, где ночевали мы, нас совершенно обокрали: платья, несколько тысяч рублей, лежавших в мешке, и разные другие предметы дорожные, или хозяйственные, которые везли мы в Варшаву, все было дочиста прибрано и похищено. Чтобы иметь возможность ехать далее, жена должна была заложить, для выручения некоторой суммы, разные свои кольца, серьги и ценные вещи. По счастью, догнал нас И. С. Тимирязев, – тогда адъютант великого князя Константина Павловича, и сжался над бедствием нашим, ссудил нас двумя тысячами рублей.

Avis au lecteur. Вот что значит пускаться в путь в понедельник.

Приезд Государя в Варшаву еще более оживил ее. Поляки впечатлительны: на них сильно и горячо отражаются и радость, и горе; свита Императора была многолюдна и блистательна: князь Волконский, граф Уваров, Милорадович, Остерман, князь Меншиков, генерал Потемкин, любимец Семеновского полка и гвардии, граф Чернышов и многие другие, более или менее известные, военные лица; по части гражданской граф Каподистриа с двумя своими правыми руками: графом Матушевичем и Севериным; государственный секретарь Марченко с Арзамасцем Жихаревым. Все съехались, более или менее, доброжелательными и вежливыми гостями; даже и не совершенно сочувствующие возрождению Польши увлекались новостью и блестящею обстановкою зрелища. Пред ними, как и предо всеми, ставилась и разыгрывалась новая драма. На военных же особенно отсвечивались славные дни недавних побед и вступления в Париж Победителя.

## IX

Но пора спуститься с временного подножия человека полуполитического, куда попал я, на смиренный участок, которым наделен я в области литературной.

Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чу-

жих стихов, а сам в стихах своих несколько не гонюсь за этою певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь. Впрочем, кажется, мы придаем музыкальности стиха уже излишнюю ценность. Другие языки в этом отношении свободнее или равнодушнее нашего стихотворческого языка. У них буквы, слоги однозвучные сталкиваются друг с другом, и горя нет. А мы тщательно и боязливо оберегаем от всякой встречи, боясь столкновения. Еще один мой недостаток: не обращено внимание на то, что не все может и должно выражаться поэтическим языком. Стих капризен и щекотлив: он не все выдерживает, не все выносит. И в природе и в картинах Поля Поттера коровы очень красивы, по седло им нейдет; мысль, может быть и правильная и даже блестящая, но рифмою оседланная, она теряет цену свою, а поэзии цены не придает. Где-то сказал я:

Язык богов, язык святого вдохновенья,  
В стихах моих язык сухого поученья.

Впрочем, если и увлекаюсь певучестью поэзии других, не отрекаюсь совершенно и ныне от так называемой дидактической поэзии. По мне, Буало в «L'art poétique»<sup>14</sup> и в сатирах своих тоже поэт. Сознаю, что упрямство, мое насильствование придают иногда стихам моим прозаическую вя-

---

<sup>14</sup> «Искусство поэзии» (фр.).

лость, иногда вычурность. Когда Вьельгорский просил у меня стихов, чтобы положить их на музыку, он всегда прибавлял: только, ради бога, не умничай. Вьельгорский именно в цель попал. В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Все эти свойства, или недостатки, побудили Пушкина, в заметках своих, обвинить меня в какофонии: уж не слишком ли? Вот отметка его: «Читал сегодня послание кн. Вяземского (видно, он сердит, что величает меня княжеством) к Жуковскому (напечатанное в „Сыне Отечества“ 1821 года). Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! *Кому был Феб из русских ласков*, – неожиданная рифма *Херасков* не примиряет меня с такой *какофонией*»<sup>15</sup>.

Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу *какофонии* в помянутых стихах. А вот, вероятно, в чем дело: Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а именно тем, в котором говорю, что *язык наш рифмами беден*. – Как хватило в тебе духа, – сказал он мне, – сделать такое признание? Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное. В некотором отношении был он прав, как один из высших представителей, если не высший, этого языка: оно

---

<sup>15</sup> Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков? Державин рвется в стих, а втащится Херасков. Это перевод стихов Вуало. *La raison dit Virgile et la rime Quinault*. «Разум, говорит Вергилий, рифма, говорит Кино. – *фр.*» (Примеч. П. А. Вяземского.)

так. Но прав и я, упоминая о нашей рифмической бедноте. В доказательство укажу на самого Пушкина и на Жуковского, которые позднее все более и более стали писать белыми стихами. Русская рифма и у этих богачей обносилась и затерлась. Впрочем, не сержусь на Пушкина за посмертный приговор. Где гнев, тут и милость; Пушкин порочит *звуки* мои, но щедро восхваляет меня за другие свойства: не остаюсь внакладе.

Малозвучность и другие недостатки стиха моего могут объясниться следующим. Я никогда не пишу стихов моих, а сказываю их про себя в прогулках моих, в поездках, прежде в коляске, позже в вагоне. Это не вполне *импровизация*, а что-то подобное тому, импровизация с урывками, с остановками. В этой пассивной стихотворческой гимнастике бывают промахи и неправильные движения. После выпрямлю их, говорю себе, – и иду далее. А когда окончательно кладу надуманное на бумагу, бывает уже поздно; поправить, выпрямить не удастся: поправить лень, да и жар просыл. Мало заботясь о них, отпускаю стихи мои на божий свет, как родились они, с своими хорошими приметам, если таковые есть, с своими недостатками и неправильностями, когда таковые окажутся.

Что говорю о стихах своих, могу вообще сказать и о прозе своей. Часто и ее задумываю, а после пишу. Таким образом, не слежу глазами за работою своею. Неточности ускользают от внимания моего: немалое ускользает и от памяти моей. Многие из стихотворений и прозаических страниц моих так

и не увидели света божия и остались без чернильного крещения.

Здесь и там грешу недоконченностью отделки. Не продаю товара лицом. Не обдeldываю товара, а выдаю его сырьем, как бог послал.

Между тем если Карамзин и Пушкин бывали ко мне строги, то порою бывали и милостивы. Они нередко сочувствовал! плодам пера моего. Драли меня за уши, но гладили и по головке. То же скажу о Дмитриеве. Жуковском, Нелединском, Батюшкове, Баратынском, Дашкове, Блудове. С меня и этого довольно. Могу сказать, что я избалован был как строгими замечаниями их, так и похвальными отзывами. В самой строгой критике, когда она – основательна и сметлива, может быть слышно сочувствие.

## Х

Поверят ли мне или нет, но утверждаю, что собственно для публики я редко писал. Когда я мало-мальски в ударе, она мне и в голову не приходит. Впрочем, публика делится на два разряда; есть, что называется, читатели и есть просто читающие. Тут та же разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что в том и другом случае большинство на стороне первых. Признаюсь, во многом я не прочь от меньшинства; разумеется, и числительная сила большинства имеет достоинство свое. Например, гораз-



до выгоднее иметь в кармане тысячу рублей, нежели десять рублей. Но едва ли не будет приятнее иметь за себя десять умных людей, нежели тысячу не совсем умных. Впрочем, о вкусах спорить нечего. Я и не спорю.

При таком настроении моем само собою разумеется, что я никогда не подыскивался, не старался угождать прихотям и увлечениям читающей публики. Не ставил себе в обязанность задобривать ее. В этом отношении за мною никакого *художества*, никакого *сочинительства* не бывало. Преимущественно писал я для себя, а потом уже для тесного кружка избранных обоего пола. В этом ареопаге не последнее место занимали мои слушательницы и читательницы. Критикой и похвалами этого кружка бывал я равно доволен. Первою я часто пользовался с повиновением; другими радовался, а иногда гордился. На долгом веку своем я так много *трубадурствовал* в честь красоты и милых женских качеств и прелестей, что не могу отклонить от себя и суд женщин, впрочем, почти всегда догадливый и сметливый. В эстетической и свежей древности недаром признавали владычество вдохновительных муз. Я человек старого слоя и покроя; от муз не отрекаюсь и верую в них. На критику печатную обращал я вообще мало внимания, с нею не советовался, ей не верил. Это неверие крепко держится во мне и ныне. Впрочем, настоящей критики, за редкими исключениями, у нас не было; нет ее, кажется, и теперь. Теперь еще менее, нежели прежде. Каченовские, Сенковские, Булгарины далеко не

были светилами критики; но все же была в них некоторая литературная основа. Они кое-чему обучились, кое-что прочитали.

В старину, то есть в нашу молодость, выражение: *залихватской, залихватское* было в общем употреблении, преимущественно в простонародии и на офицерском языке. Ныне оно сделалось заштатным, как иные города, некогда цветущие в довольно многолюдные. Слово свое время выжило, но сущность его осталась. Она легко может быть применяема к литературе, и особенно к критике. – «Да ты сам тому виноват, – сказал бы мне Александр Тургенев, – ты сам дал тому пример в *Телеграфе*». – Может быть, скажу я. Но известно, что последователи худого примера всегда еще ухудшают его. Шалопайство пера гуляет по страницам журналов. Правда, есть и глубокомысленная, или головоломная критика, но попробуй ее – и провалишься.

Иной, например, ничему не учился, сделался самоучкою невежества своего. Но в уме, в замашках мысли его была какая-то бойкость и Русская сметливость; он кое-что угадывал. Но оставленное им по себе потомство наследовало от него одно обширное неведение; блестящие же качества его ускользнули от наследников. Влияние ложной школы, ложного авторитета утверждается в обществе с невероятною скоростью и крепостью, как влияние прилипчивой болезни. У нас, например, встречаешь людей не без ума, не без дарования и общей европейской образованности, которые, не

запинаясь, не заикаясь, ставят им подобного литературного выскочку рядом с именем Пушкина, а может быть еще готовы признать превосходство первого над последним, по благотворному влиянию, которое тот и другой оказали на ход литературы нашей. Что прикажете делать в виду подобной ереси? Впрочем, плоды ее очевидны и поразительны.

Сказанное мною – не сетования оскорбленного самолюбия, не придирки злопамятства. На моем долгом веку всего было довольно. И я жил в счастливой Аркадии, и меня хвалили, и мне кланялись журналы, и меня называли печатно *остроумнейшим писателем*. Все это дело житейское и бывалое. Скажу и я с Пушкиным: «E sempre bene<sup>16</sup>, господа!»

От журнальных похвал не раздувался я; от браней не худел. Позднее настала пора *заговора молчания*. Критически печать меня заживо похоронила; не потрудились даже выставить надгробную надпись. Что же, почему и этому не быть? Мертвые срама не имут.

Les absents n'ont pas toujours tort, – сказал я когда-то, – mais ce sont les présents qui ont souvent tort.<sup>17</sup> Особенно в такую глухую пору, когда между отсутствующими числятся: Дмитриев, Батюшков, Жуковский, Баратынский и некоторые другие; когда Карамзин и Пушкин едва ли уже не откланиваются пред читающею публикою. Да господи боже мой, как был бы я глуп, если не умел бы ценить свое достохваль-

---

<sup>16</sup> И отлично (*ит.*).

<sup>17</sup> Отсутствующие не всегда виновны... но те, кто налицо, часто виноваты (*фр.*).

ное исключение; могу только сказать с смирением и благодарностью, что не по заслугам моим такая честь мне оказывается.

В настоящих отношениях моих к критике и для полноты автобиографических заметок считаю не лишним сказать и следующее. Стороною доходили до меня слухи, что в некоторой печати хожу я под разными прозвищами, забавными и насмешливыми. Честью удостоверяю, что эти выстрелы в меня остались для меня промахами. Не имел я и не имею понятия о них. Мне даже прислали за границу для показа одну подобную статью. Так и лежит она у меня по сию пору недочитанная. Любопытство и щекотливость мои притупились. В старину любил я гарцевать в чистом поле, пред неприятелями своими. Ныне и эта охота отпала; да и прежде не самолюбие действовало во мне, а какая-то задорливость. Баратынский говорил про меня, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например, гр. Алексея Григ. Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой. В этом случае сочувствиями и привычками моими колебался я между двумя сторонами. Карамзин и Жуковский подавали мне пример совершенного равнодушия и мирного бездействия в виду нападавших на них противников. Дмитриев, державшийся более ветхозаветных нравов и преданий, побуждал меня к отражению ударов и к битве. Пушкин, долготерпеливый до известной степени и до известного дня, также вступал иногда в бой за себя, за свое

и за своих.

Если еще и ныне случается мне потряхнуть стариною, то, право, не из самолюбия, а просто оттого, что приходится мне невтерпеж, когда встречаю в печати мнения и ереси, возмущающие мою литературную совесть и нравственные убеждения мои. Ратую не за себя, а за то, что правду почитаю правдою. Пожалуй, найдутся добрые люди, которые скажут, что в словах моих сквозят сетования литературного крепостника, жалеющего о блаженных временах цензуры. Нисколько. Хотя довольно долго промышлял я делами цензуры, хотя в проезд мой чрез Берлин одна из наших заграничных непризнаваемых (тесопные) посредственностей, проходя мимо меня, и пробормотала про себя: «Вот идет наша русская цензура», но я до цензуры не безусловный охотник. Не безусловный поклонник и безусловных льгот свободной печати. Впрочем, желаю ей здравствовать и процветать, но с тем, чтоб цвет ее приносил зрелые и здоровые плоды. Не следует забывать, что льготы, дарованные печати, не всегда еще открывают путь истинным успехам литературы. Бывает и так, что они только развязывают руки самонадеянным посредственностям.

За границу получаю несколько русских газет и журналов, но, признаюсь, мало читаю их, а выписываю для очистки совести. Жизнь так коротка, а мой остаток ее так еще окорочен, что берегу время свое на чтение более полезное и приятное. Может быть, вследствие того я и виноват перед журналами и газетами нашими и пропускаю бессознатель-

но многие сокровища, которые в них таятся. Но на ловца зверь бежит: как-то попадаю я чаще на след красного зверя политической или литературной бестактности, незнания первых элементарных правил литературного благоприличия; скажем откровенно одним словом, на глупость или на бессовестную неправду.

Нет сомнения, что и ныне есть в литературе нашей почетные личности, которые уважаю и мнением которых дорожу. Вполне признаю и ценю их суд, всегда готов советовать с ними и покоряться советам их. Но не менее того, я как-то одинок в современной литературе нашей. Нет уже прежних спутников моих, ровесников, так сказать, единоверцев. Нет того полного сочувствия, которое развилось и окрепло на родной почве товарищества, общих привычек, понятий, склонностей, направлений. Теперь, когда напишу что-нибудь, чем я сам доволен и что кажется мне удачно, не чувствую потребности, влечения прочесть стгоряча написанное мною друзьям моим. Этих друзей уже нет. Мне, и радуясь собою, грустно радоваться одиноко. Не могу бежать к Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы поделиться с ними свежим, только что созревшим, только что сорванным с ветки плодом моей мысли, моего вдохновения. Оценка их была бы и моею окончательною оценкою; одобрение их было бы освящением моей радости. Это одиночество, может быть, и есть повод к некоторому охлаждению к самому себе и, может быть, к малому сочувствию, а часто и равнодушию к тому,

что у нас пишется.

## XI

Выше было уже сказано, что я вообще писал не усидчиво, а более урывками. В литературной жизни моей были только два периода довольно постоянной деятельности, а именно, когда я участвовал в издании журнала «Телеграф» и когда писал биографию Фонвизина. Обе деятельности были почти случайные. Последняя обязана холере, другая вот каким обстоятельствам. Полевой был в то время еще литератором *in partibus infidelium*<sup>18</sup>. Едва ли не против меня были обращены первые действия его. По крайней мере, ему приписывали довольно бранное послание, напечатанное в «Вестнике Европы», в ответ на мое известное, а также не слишком вежливое, послание к Каченовскому. Как бы то ни было, Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вьельгорского. Речь зашла о журналистике. Вьельгорский спросил Полевого, что он делает теперь. «Да покамест ничего», – отвечал он. – «Зачем не приметесь вы издавать журнал?» – продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Юноша был тогда скромнен и застенчив. Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою,

---

<sup>18</sup> Здесь: не при деле (*лат.*).

он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; — дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевском переулке (в Москве), зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя «Телеграфу». Почти в одно время закабалил себя Пушкин «Московскому Вестнику». Но он скоро вышел из кабалы, а я втерся и вьелся в свою всеми помышлениями и всем телом. Журнальная деятельность была по мне. Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось бы только поприще. Иная книжка «Телеграфа» была наполовину наполнена мною, или материалами, которые сообщал я в журнал.

Журнал удался: от него пахло новизною и европейским веянием. Многие из напечатанного в нем входят ныне в собрание сочинений моих. Но, вероятно, не все. За давностью не упомяну всего. Боюсь, что вкрадется в собрание кое-что и не мое, из журнальной мелочи. Сначала медовые месяцы сожития моего с Полевым шли благополучно, работа кипела. Не было недостатка в успехе, а с другой стороны, в досаде, зависти и брани прочих журналов. Все это было по мне; все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стезе, стрелял изо всех орудий, партизанил, наездничал и под собственным именем, и под разными заимствованными именами и буквами. *Журнальный сыщик* все ловил на лету. Потеха, да и только. Но после издатель начал делать попытки по своему усмотрению: печатал статьи, изъяслял мнения, которые



выходили совершенно вразрез с моими, прибавлю – не в отношении политическом и либеральном, – нет, просто в личном и чисто литературном. Он втайне уже помышлял о походе своем против «Истории Государства Российского» и готовился к этому. Все это мне не понравилось, и я отказался от сотрудничества. Впрочем, может быть, и Полевой рад был моему отказу. Я мог быть ему нужен первое время. Журнал довольно окреп и мог обойтись и без участия моего. Между тем, по условию, должен был я получать половину чистой выручки. Журналисту и человеку коммерческому легко было расчесть, что лучше не делить барыша, а вполне оставить его за собою. Что же? Полевой был прав, и я нисколько не виню его. Был прав и я. Литературная совесть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива. Не умеет она мирволить и входить в примирительные сделки. Жуковский, а особенно Пушкин, оказывали в этом отношении более снисходительности и терпимости. Я был и остался строгим пуританином.

При переезде в Петербург на житье принимал я участие в «Литературной газете» Дельвига, позднее в «Современнике» Пушкина. Но деятельность моя тут и там далека была от прежней моей «телеграфической» деятельности.

Над Москвою в 1831 г. грянула холера. Перед тем приезжал я, или, говоря служебным языком, был откомандирован в Москву графом Канкриным для участия в устройстве первой промышленной выставки в Москве.

Появление холеры в столице застало меня в подмосковной

моей, в селе Остафьеве. Часть семейства моего в нем жила. Нужно было, без отлагательства, решиться на одну из двух мер: остаться в деревне или тотчас перебраться с детьми в город. Через несколько часов Москва должна быть оцеплена: по дорогам учреждались карантинны. В Москве уже гнездилась болезнь; но в ней были все врачебные пособия и удобства, чтоб по возможности бороться с нею. В деревне ее не было, могла она и не быть. Но в случае вторжения мы были бы совершенно безоружны против врага. Ответственность, лежавшая на мне, как на отце семейства, была тяжелая и, признаюсь, не по силам моим. Вообще, я не человек скорых и окончательных решений. В борьбе с жизнью я более Фабий *Куинкатор*, более свойства выжидательного. Здесь же лавировать, отвиливать, мешкать было нечего. Я решился остаться в деревне. Бог меня надомнил и благословил решение мое. Первое время заточения было тяжкое. Всегда ожидаю скорее худого, нежели надеюсь на хорошее. Мало-помалу мы обжились в своем карантине. Для развлечения моего, пришла мне счастливая мысль. Давно задумал я заняться биографиею Фонвизина. Несколько страниц было уже написано; материалов под рукою было довольно. Вспомнил я о них, принялся за работу, и она закипела. Под боком у меня была библиотека обширная, иностранная и русская. Она была для меня богатою житницею. За работу принялся я не с пустыми руками: пересмотрел, перебрал, перечитал многие десятки книг исторических и литературных. Тут на опыте убедился

я в пользу и правдивости учения, что *все во всем* (tout est dans tout). Все в мире, часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собою. Ни в физическом, ни в нравственно-человеческом мироздании нет праздного пустого места. Все последовательно и соответственно занято. Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может увлечь в разнообразные и далекие изыскания. Так было и со мною. Много исторических сочинений перебрал я по поводу Фонвизина, прочитал я или пробежал почти всю старую русскую словесность, между прочим, едва ли не всего Сумарокова. Прочитал я даже более половины многотомного собрания «Российского феатра». Подвиг, скажу, геркуле-совский. Иногда из целой книги извлекал я две-три строки, два-три слова, нужные мне для одной поверки, для одной заметки. Тредьяковский и Фридерик Великий, в своих исторических записках, были мне равно полезны. По возможности, все писанное мною было обдуманно и проверено. Терпение и труд мой были вознаграждаемы сознанием, что поступаю добросовестно. Никогда письменная работа, ни прежде, ни после, не была для меня так увлекательна, как настоящая, на которую навела меня холера. Работал и писал я прилежно, усидчиво, по целым часам до обеда, вечером за полночь.

Уже при последних издыханиях холеры навестил нас в Остафьево Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем с авторитетом

писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком строго нападаю на Фонвизина за неблагоприятное мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. В одном месте, где противопологаю мнение Гиббона о Париже мнению Фонвизина, написал он на рукописи моей: «Сам ты Гиббон». Разумеется, в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу. Известно, что Гиббон славился, между прочим, и *курносием* своим. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в суждениях его о чужестранных писателях. Этого чувства я не знал и не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд.

Книга, написанная мною, долго пролежала у меня. Для полноты автобиографического очерка своего, скажу о ней еще несколько слов. Я уже заметил, что однажды написанное мною не что иное, как отрезанный ломоть. Оно уже не входит в состав жизни моей, не живая часть меня. Отпадшие листья не принадлежат уже дереву, которое породило и вскормило их. А вот что вывело «Фонвизина» моего на белый свет. В отсутствия, иногда довольно продолжительные, директоров я управлял департаментом внешней торговли; при

нем издавалась «Коммерческая газета» и была типография. По старому ремеслу обращал я на них особенное внимание. Управляющий типографией был человек знающий свое дело и усердный к нему. Он часто просил меня дать ему что-нибудь моего на станки его. Я вспомнил о спящей царевне своей, то есть о рукописи, и отдал ее в типографию. «Фонвизин» был напечатан, помнится мне, в числе шести или осьми сот экземпляров. Отданы были они на руки книгопродавцам. Кажется, издание разошлось. На мою долю выручка пала, много сказать, экземпляров на сто, прочие как-то улетучились. *Nabent sua fata libelli*<sup>19</sup>, особенно мои. Книга разошлась, но не громогласно, а довольно тихомолком. По крайней мере, не случалось мне встречать в журналах общей оценки ее, исследований по существу. Были более отметки о некоторых частностях. Бывали из нее и заимствования, но тоже не гласные. Меня также обходили молча, а, казалось, книга открывала поле для критики мыслящей и дельной. Если не была она литературное событие, то все же была любопытная и довольно серьезная попытка. Впрочем, молчанию о ней были и свои законные причины. Бранить книгу, может статься, было как-то неловко: брани мало поддавалась она. Не за что было ухватиться. Хвалить ее также не подобало, В это время литературные фонды мои значительно понизились на журнальной бирже, и не мои одни; другие капитальные дома, не то что моя фирма средней руки, были мало-помалу

---

<sup>19</sup> У книг своя судьба (*лат.*).

подорваны, и доверие к ним было поколеблено. Видите ли, в чем дело: я тогда уже перестал быть либералом, а, по сознанию Белинского, главного основателя, пророка и законодателя нового верования, вся суть литературы заключается в либерализме, как сказал он в известном письме к Гоголю. Мы, может быть, по-своему и оставались либералами. Мы не изменились, но либерализм изменился. Одним словом, книга моя если не совсем провалилась, то обрела, что на французском театральном языке называется: *un succes dethine*<sup>20</sup>...

Один Гоголь открыто подал голос за меня, но и то не совсем удачно, то есть не в меру. Гоголь, хотя и малоросс, то есть человек осторожный и себе на уме, бывал подчас чистокровный великоросс, то есть кидался в крайности:

О Росс, о род великодушный,  
О твердо-каменная грудь!

*(Державин)*

Мы любим идти напролом и наудалую. Запой русскому человеку есть не только физическая болезнь, она и нравственная. Мы почти все делаем запоем, и дурное и хорошее. Промывшись и отрезвившись, мы не отвечаем за сказанное и сделанное нами в припадке своем.

Вот слова Гоголя: «Из поэтов времени Пушкина отделялся князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде

---

<sup>20</sup> Заслуженный успех (*фр.*).

Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противоположность Языкову. Сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него, как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округления мысли, затем чтобы выставить ее читателю, как драгоценность. Он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворения – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: наглядна, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, ум, остроумие, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по образованию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем чтобы составить из него что-то полное. В его книге „Биография Фонвизина“, обнаружилось еще виднее обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом – все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем, и если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочи-

нения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самых его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защежит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу; слышна несобранность в себя, неполная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелее участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт:

Душа прямится, крепнет воля,  
И наша собственная доля  
Определяется видней».

*(Полн. собр. сочин. Н. В. Гоголя. Москва, 1862. III, стр. 459-460).*

Уф! Задыхаюсь и изнемогаю и от похвал, которые навалил на меня Гоголь, и от протяжности периода, в котором он, одним духом, сколотил все эти похвалы. Вот куда следовали



бы точки и двоеточия, которых требовал от меня Дмитриев. Выпискою нашею хотели мы указать на преувеличение, которым увлекался автор. Мы сердечно благодарны ему за лестный отзыв обо мне и о труде моем. Если сбавить и наполовину все то, что им сказано, то и тогда еще будет с меня избыточно довольно. Но разберем критически эти похвалы.

Во-первых, какую можно определить равномерность между биографиею частного человека и историею долгого и славного царствования великой государыни?

Во-вторых, положим, что история, написанная мною, была бы удовлетворительна, почему ничего *подобного, по достоинству, исторического сочинения не представила бы нам Европа!* Вот здесь наталкиваемся мы на великороссийское самохвальство.

Писать историю, даже роман, мне никогда в голову не приходило. Однажды, по кончине Пушкина, император Николай, в благоволительном разговоре со мною, спросил меня: не возьмусь ли я продолжать труд Пушкина относительно истории Петра Великого? С благодарностью, но и с сознанием способностей и недостатков своих, отклонил я милостивое и лестное предложение.

В том же месте Гоголь после больших похвал не скупится и на укоризны. Между прочим говорит он: «Отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского». С этим приговором я совершенно согласен, но с оговоркою. Полно, *болезнь* ли это? – скорее разве недостаток, да и то, ко-

гда сей недостаток сознаваем самим человеком, когда, глядя на других, не затевает он труда выше сил своих, то эта мнимая *болезнь* есть, напротив, признак *здоровья*, а *недостаток* есть сила *здравомыслия*. Лучше казаться тщедушным, но быть здоровым, нежели казаться здоровым, а на деле оказаться больным.

## ХII

Теперь несколько слов о самом издании всего написанного мною в прозе. О стихотворениях речь впереди. Первый встречаемый вопрос есть тот: всего ли меня печатать или только выборку из меня? С своей стороны я более держался последнего соображения. Но благоприятели мои, которые приняли на себя труд собрать воедино разбросанное стадо мое, порешили иначе. Покоряюсь воле их. Издание некоторых стихотворений моих под названием «В дороге и дома» совершилось также без прямого или исключительного участия моего. Оно составлено по почину и главному распоряжению покойного Лонгинова. Я был тогда за границею, по болезни моей, и, признаюсь, оставался довольно равнодушен к исходу этого предприятия. Вполне благодарен я издателю за труд, добросовестно и с умением им исполненный; но скажу откровенно, что я не совершенно согласен с ним относительно выбора его из моих стихотворений. Иного не внес бы я в избранное собрание, другое, как, например (исчисляю их

по памяти): «Уныние», «Первый снег», «Послание к Денису Давыдову», «Прощание с халатом» и некоторые другие стихотворения, по сочувствию моему, имели бы более права на перепечатание, нежели другие, попавшиеся в книгу.

О нынешних добродееющих издателях моих скажу, что они, может быть, и правы, издавая и предавая меня на суд читателей целиком. Литературная жизнь писателя есть также своего рода жизнь человека. «Еже писах, писах»: что прожил, то прожил. Выходи на этот суд, каков ты ни есть. Судья, то есть читатель и критик, присудят сами, что должно тут пойти на правую сторону, что на ошую; я же тут при решении суда и приговоре остаюсь в стороне. Впрочем, меня будут судить задним числом, по большей части не меня настоящего, а меня некогда бывшего. Со всем тем скажу откровенно и без лицепрятия, а в общем значении, что собрание сочинений моих может иметь некоторое законное основание, *sa raison d'être*. Я все-таки, хорошо или худо, был человеком литературным, ничего из человечески-литературного не было мне чуждо. Из классического образования своего помню изречение: *Ното sum...*

Нас на Руси вообще немного. Пробелов оставлять не подобает. Как уже сказал я: в природе пустых мест нет, и все во всем, следовательно, есть место и мне.

Кажется, довольно откровенно говорил я о своих писательских недостатках: был я судебным обвинителем своим; да позволено мне будет быть присяжным стряпчим за себя и

выставить то, что признаю добрыми качествами своими.

Начну с того, что, отыскивая в себе собственное, коренное, родовое, я нахожу, что ничего не перенимал я, никому раболепно не следовал. Скажу с французским поэтом: рюмка моя маленькая, но пью из своей рюмки. А что рюмка моя не порожняя, тому свидетель Пушкин. Он где-то сказал, что я один из тех, которые охотнее вызывают его на спор. Следовательно, есть во мне чем отспориваться, Пушкин не наткнулся бы на пустое. Споры наши бывали большою частью литературные. В политических вопросах мы вообще сходились: разве бывало иногда разномыслие в так называемых чисто русских вопросах. Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую. И мне иногда хотелось сказать Пушкину с Александром Тургеневым: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».

Есть у меня свойство, которое можно назвать погрешностью, но можно назвать его и избытком. Я держусь последнего определения. В статьях моих, вообще во всем, что пишу, встречается много вводных подробностей, отступлений от прямого содержания, замечается какая-то штучная, наборная, подборная, нередко мозаическая работа. Я как буд-

то боюсь не успеть другой раз высказать все, что у меня на уме: не верую в завтрашний день и спешу сегодня же высыпать весь мой мешок. Оно так. Это, разумеется, вредит общему построению и единству изложения моего; но зато оно придает сытность содержанию. Кормлю гостя моего разнообразностью пищи и следую поговорке: что ни есть в печи, все на стол мечи.

Позволяю себе неологизмы, то есть прибавления к «Словарю Российской академии»; но по крайней мере, мне так кажется, вольности мои не произвольны, а вытекают обыкновенно из самого состава и наказа языка. Например, – и за примером идти недалеко – за несколько строк пред сим употребил я слово *сытность*, которого нет в наших словарях, даже и у Даля. А этому слову следует быть, потому что есть слово *сытный*. *Сытность* имеет другое значение: *сытность* может произвести *сытость* – то есть что-то вроде пресыщения. Я полагаю, что почти все прилагательные наши могут быть преобразуемы в существительные нарицательные. Почему из слова *прекрасное* не сделать нам слово *прекрасность*, как мы из *будущее* вывели *будущность*; *прекрасность* выражает свойство красоты. И так далее. Есть *неологизмы* и *чужесловия*, которые просятся в наш язык или скорее на которые напрашивается наш язык. Смешно, из какого-то педантизма или патриотизма, не оказывать им гостеприимства; мы все полагаем, что наш язык очень богат. Согласен, но во многом он и беден. Разумеется, хозяину долж-

но уметь выбирать гостей своих, а не растворять двери настежь пред всяким сбродом. Ненужные иностранные слова в русской речи одна пестрота; но есть и нужные заимствования, иногда и нужные нововведения.

Ум мой воспитан и образован во французской школе. Я учился и другим иностранным языкам, занимался по временам немецкою, английскою, италиянскою литературою; но все это были более или менее случайные знакомства. Связь моя укрепилась с одною французскою литературою, особенно минувшего столетия. Это, кажется, сильно отозвалось во мне. Вообще я не полиглот, не Мезофантис, с которым был я знаком в Риме и который писал мне русские стихи. Но при всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо, и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародней никогда и не гонялся. Русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи, может быть, придавал речи моей какую-то своеобразность и свежесть. Тут было и что-то родовое и наследственное. Мой отец был русским представителем французской образованности. У него была обширная библиотека, состоящая наиболее из французских книг. С ними познакомился я очень рано. Впрочем, я много прочел и русских книг. Когда Жуковский готовил издание «Образцовых сочинений», я много помогал ему и перерыл целую кипу русских книг, особенно старого времени. Впрочем, кажется, и в са-

мом уме моем есть какой-то русский сгиб и склад, которые не затерлись от обращения с чужеземными влияниями. Эта смесь французского с нижегородским, над которою смеялся Чацкий, имеет, может быть, свою и хорошую сторону.

Говоря выше о своих занятиях филологических, забыл я сказать, что в разные времена первой молодости моей изучал я и латинский язык и римскую литературу, особенно Овидия и Горация. В старых бумагах моих отыскиваю целые страницы, исписанные мною на латинском языке. Но латынь не далась мне, не укрепилась за мною, как вообще мало укрепляется она за нами, русскими. У нас нет ни исторической, ни народной почвы для латынства. Разумеется, не восстаю против изучения классических языков. Сохрани боже. Хочу только примером своим, и думаю, не исключительным, отметить, что учение это, как оно ни желательно, легко испаряется из нас, потому что оно мало применимо к действительности. Впрочем, был такой случай, что меня всенародно провозгласили и классиком. Расскажу его, в надежде, что он позабавит некоторых читателей, утомившихся моими частыми отступлениями. Однажды приехал я в свою костромскую вотчину, в известное в краю торговое и промышленное село Красное. В воскресенье, по совершении обедни, священник сказал мне и церкви приветственную речь. Говорил он с жаром, народ слушал с благоговением. Выхваляя мои гражданские и помещичьи доблести, продолжал он, указывая на меня: «Вы не знаете еще, какого барина бог вам дал; так знайте

же, православные братья! он русский Гораций, русский Катулл, русский Марциал!» При каждом из этих имен народ отвешивал мне низкие поклоны и чуть не совершал знамения креста. Можно себе представить, каково было слушать мне и какую рожу делал я при этой выставке и классической пытке.

Под конец – маленькая исповедь: перечитав написанное мною выше, вижу, что в некоторых местах отзываюсь и сужу я иногда довольно и, может быть, излишне резко. Сознаюсь и каюсь. Каюсь-то каюсь, но не исправляюсь. Так бывает и со многими покаяниями. Настоящая статья, как уже сказано, есть что-то вроде отчета за минувшее мое: род предсмертного духовного завещания. Пред смертью лукавить грешно и смешно; ни в мешке, ни в могиле шила не утаишь. Умолчания и упущения здесь неуместны; не хочу казаться хуже, чем я есть, но не хочу казаться и лучше; также не желаю никого оскорбить, но не желаю и задобривать. Человек, хотя несколько принадлежащий общественной деятельности на том или другом поприще, подлежит с своими хорошими и худыми качествами общественному суду: он его достоинство и собственность. До поры и до времени не каждый вправе, не каждый имеет уполномочие касаться до этой собственности. Но самому можно распоряжаться собственностью своею, распоряжаться самим собою.

Был у меня приятель, даже друг: остались мы друзьями до конца; ныне уже нет его на свете. Он жил за границую.



Император Николай бывал иногда недоволен грехами языка моего и давал мне это чувствовать. Приятель мой знал это; между тем портрет мой висел в кабинете его, который государь должен был занять в одну из своих заграничных поездок. Как тут быть? Оставить ли обличительный портрет как он есть или, для большей осторожности, снять его на время со стены? Наконец храбро и великодушно решился он на первое. Позднее говорил он жене моей, что хотел оказать себя пред государем в полной обстановке своей, и выгодной и неблагоприятной. Подобно и я: оставляю на стене портрет мой, во весь рост; ничего не утаиваю из него, ничего в нем не поправляю. Как я есмь и как он есть, так и останемся мы друзьями и благоволителям на память, другим на суд и порицание.

1878

# Автобиографическое введение

## (Конец главы VIII)<sup>21</sup>.

Пока будут Польские женщины на свете, они могут петь:

«Ezce Poleka nie zginela».

В Польской женственности необычайная прелесть и прирожденная ловкость; в них много и простосердечности. Не говоря о молодом поколении, которое нашел я в Варшаве, но и женщины уже не первой молодости, умом своим и унынием им владеть и пользоваться, образованностию, особенною женскою сноровкою – были привлекательны. Помянем мимоходом некоторые имена: графиня Розалия Ржевусска, графиня Александра Потоцка, впоследствии г-жа Вонсович, жена того, который провожал Наполеона в санной Березинской прогулке его, княгиня Сульковска, графиня Жан-Потоцка, графиня Замойска и еще многие другие. Нельзя не

---

<sup>21</sup> При разборе бумаг, оставшихся после князя П. А. Вяземского, отыскался отрывок его Автобиографии, не вошедший в II-й том. Этот отрывок писан собственноручно покойным князем и по содержанию своему составляет продолжение и конец VIII главы *Автобиографического Введения* (стр. XXXVII–XLI), в которой говорится о «Варшавском периоде» жизни князя Петра Андреевича.

упомянуть имена и исторических представительниц в новом обществе минувшего века, украшавших двор короля Станислава: княгиня Чарторыйска, княгиня Радзивилл, которая до конца жизни вплетала всегда розу в свои седые волосы и говорила: «*c'est une rose qui fleurit dans la neige*», графиня Станислав-Потоцка и Гутаковска, и в заключение этого списка наместница царства, княгиня Зайончек, которой загадочные лета терялись в сумраке доисторических годов, но ум был свеж, игрив, и все женские свойства, наклонности и уклончивости нисколько не поддавались давлению времени и ограничениям, которые влечет оно за собою. Не могу однако, без нарушения совести и сердечной памяти, пропустить в поминках моих некоторые молодые имена, которые так и просятся под перо: княгиня Терезия Яблоновска, девица графиня Мостовска (в последствии бывшая замужем за бароном Моренгеймом, а потом за Павлом Мухановым), и девицу Жанету Грудзинску, известную после под именем княгини Лович. Ею достойно увенчается мой поименный женский Варшавский список. Она не была красавица, но была красивее всякой красавицы. Белокурые, струистые и густые кудри ее, голубые, выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий и звучный, стан, гибкость и какая-то облекающая ее нравственная свежесть и чистота. Она была Ундина; все соединялось в ней и придавало ей совершенно отдельную и привлекающую внимание физиономию в кругу подруг и сверстниц ее. Глядя тогда на нее, кто мог предви-

деть блестящую участь ее и скорый, роковой и драматический конец этой молодой, но многоиспытанной счастьем и скорбью жизни ее. Хорошие отношения мои к Варшавскому обществу остались неизменными до конца. Политика, то есть международная, или, если хотите, междоусобная оставалась совершенно в стороне. Могут быть при разномыслии такие жгучие вопросы, до которых дотрагиваться не должно, даже между друзьями и братьями, равно благовоспитанными и вежливыми. В общей и хорошо сознаваемой образованности есть так много точек сближения и сочувствий, что не зачем отыскивать и выводить наружу точек пререканий и преткновений. А между тем есть люди, вооруженные донельзя преувеличенными микроскопами, которые только и делают, что выискивают мельчайшие несходства и противоречия личные, общественные и международные, чтобы ставить между ими грани, столбы и предел, его же не преи́деши. Это обозначает необычайную узость и неподвижность ума.

В Варшаве был я в приятных отношениях и с либералами и с консерваторами, с старыми Поляками, не покидавшими кунтуша, и молодежью, подчинявшеюся моде и лозунгу из Парижа; был я близок и с сановниками и с средними общественными слоями ученых, художников и актеров. Бог свидетель, что я популярности не заискивал и никакими уступками ей не мирволил. Но популярность сама вышла ко мне на встречу и осталась мне верна, даже по выезде моем из Варшавы. Нечего говорить, что сношения мои с Поль-

скими литераторами скоро завязались. Патриархом их был тогда Немцевич; ничего озлобленного, непримиримого революционного в нем не было. Напротив, много было добродушия, кротости и признательности за приветливое и ласковое с ним обращение. Императрицы Екатерины он не любил, но очень любил Императора Павла. Это довольно естественно, даже и помимо всяких политических соображений. Екатерина посадила его в крепость, а Павел из нее выпустил. Впрочем, как с другими, так и с ним, беседы наши вращались на почве нейтральной, и преимущественно литературной. Позднее вмел я случай примирить два века, две школы, две противоположные знаменитости в лице старого Немцевича и молодого Мицкевича, с которым познакомился я в Москве. Мне удалось ввести их в переписку друг с другом. В доказательство, что в самых рьяных и ярых политических раскольниках могут сохраниться прежние отголоски мирного и человеческого настроения, приведем следующий пример: много лет спустя после пребывания моего в Варшаве и даже Польского восстания 1830 года, в котором играл он значительную роль, встретился я в Париже на улице с Немцевичем. Подошел я к нему; с начала не узнал он меня, но в след за обменом первых приветливых слов, спросил он меня с видимым участием: а что делает Машенька? это имя дочери моей, которую знавал он ребенком в Варшаве и всегда особенно ласкал. Воспоминание о ней и о доме вашем не затерялось в нем и пережило все волнения, все крутые

перевороты, которые разгромились над родиною его и над нам самим уже в преклонной старости. Был я в приятельских сношениях и с другим поэтом с Моравским, которого талант имел, по мне, что-то общее с талантом Жуковского. Он очень удачно перевел известную подпись мою к портрету Императора Александра, которую гораздо позднее отыскал я вырезанную под бюстом Александра, в художественной дворцовой Флорентинской галерее. Перевод моих исторически-монархических стихов не помешал, однако, Моравскому стать под знаменем возмущения и вооруженною рукою действовать против законной и монархической власти. В пятидесятых годах встретился я с ним в Карлсбаде. Он откровенно и со скорбью сознавал, что в 30-м году Поляки сделали большую глупость и не умели оценить все благодеяния, оказанные им Русским правительством, и что в особенности оказались они неблагодарными к Великому Князю Константину Павловичу, который, не смотря на вспышки и взрывы, много сделал им добра и был к ним особенно благожелателен. Директором Варшавского театра был тогда Оссинский, поэт и преимущественно известный классическим и, по отзыву Поляков, великолепным переводом трагедии Корнеля: *Le Cid*. Варшавская сцена была богата отличными художниками. Театр был тогда для Поляков не только развлечением и забавою, но и священным историческим преданием и народным служением. Для меня был он особенно школою для изучения Польского языка. Театр и чтение Польских газет были

мне в этом отношении большими пособиями. Литературные мои наклонности встречали в Русском обществе менее деятельных сочувствий и соприкосновений, нежели в Польском. Наши земляки, за весьма редкими исключениями, были все не литературного и грамотного настроения. Между тем, в то время, писал я довольно много стихами и прозою, особенно первыми. Помню некоторые произведения той эпохи: *Уньиние*, *Первый снег*, два стихотворения, любимые Пушкиным, особенно первое, *Послание к И. И. Дмитриеву*, *Послание к Жуковскому*, заимствованное из сатиры Буало, *Послание к Тургеневу, с пирогом*, несколько неприличное и заносчивое *Послание к Каченовскому*, стихотворение *Петербург* (одно начало его было напечатано), *Послание к Сибирякову*, *Негодование*; три последние были написаны не в мятежном и не в ниспровергающем, а в либеральном и конституционном духе, или *законно свободном*, по выражению Императора Александра. Кто-то в Петербурге отыскал поэта-самоучку, кажется Ф. Н. Глинка, крепостного слугу провинциального помещика. Пошли переговоры об отпущении на волю слуги Аполлона. Но помещик не признавал баснословного начала, говорил, что этот слуга ему нужен, тем более, что он издержал на него довольно денег для обучения его кондитерскому мастерству, что стихотворству обучать его он и не помышлял, и наконец требовал за него довольно круглую сумму, если непременно хотят даровать свободу ему. Сумма была скоро собрана; я был в нее вкладчиком, да еще захо-

телось почтить неизвестного мне поэта посланием. Помню только первые стихи из него:

Рожденный лавры жать и спящий на соломе,  
В отечестве поэт, кондитер в барском доме,  
Другой вельможам льстит, а я пишу тебе:  
Как смел, Сибиряков, ты вопреки судьбе,  
Опутавшей тебя веригами насилья,  
Отважно распусть воображенью крылья,  
И, званьем раб, душой в свободе вознестись?  
Ты вздумал мыслить, ты, дружок, перекрестись!  
Муз и читателей незванный собеседник,  
Оставь перо свое, поди надень передник  
И к барскому столу конфеты испеки, и пр.

Помнится мне, в этом послании было несколько удачных и сильных стихов. Списка с них у меня не осталось, как и многих стихотворений моих. Отыщутся они разве в богатом архиве покойного А. И. Тургенева. Этот освобожденный Сибиряков сделался после актером. О литературной деятельности его ничего не знаю. Вообще, сердце у меня не очень лежит к поэтам-самоучкам. Ломоносовых из них не выходит, а отчуждаются они от среды, им свойственной и в которой могли бы они быть полезными себе и своим, и насильственно ввергаются в коловорот, который, рано или поздно, разбивает их. По мне, и бедный Кольцов в этом отношении не исключение. Он без сомнения имел зародыш таланта; но этот заро-



дыш принес более вреда ему, нежели пользы Русской словесности, Русская литературная публика моя в Варшаве заключалась в двух лицах: в молодом гвардейском офицере Литовского полка Гаабе, который тоже пописывал, и в Фовицком, состоявшем наставником при Павле Константиновиче Александрове. Он был очень образованный, хорошо знал Русский язык и Русскую литературу; принадлежал он литературному кружку братьев Княжевичей, Александра Измайлова и других. С ним мы очень сблизились; ему поверял я тотчас сметанные на живую нитку произведения свои, и часто пользовался умными и дельными замечаниями его. Он отбирал у меня мою стихотворную мелюзгу и отсылал ее к приятелю своему Измайлову в журнал *Благонамеренный*, где она и печаталась, помнится мне, безыменно. А что именно печаталось, — право, не помню. Другие мои произведения, несколько покрупнее, печатались в *Сыне Отечества*. Кстати о нем: я узнал в Варшаве, что и журнал, и издатель его Греч были, что называется, на дурном замечании у Государя, и вот по какому поводу я это узнал: известно, что виды и предположения Государя в отношении в Польше были многим не сочувственны в России. Приезд его в Варшаву и пребывание в ней порождали обыкновенно толки и слухи, более или менее неблагоприятные и более или менее неверные. Это волновало умы. Для предотвращения этих последствий, составил я докладную записку, в которой излагал я вред этих неверных слухов и пользу, которую могли бы принести печатаемые

сведение о царском пребывании в Варшаве и вообще о том, что делается в царстве, и предлагал печатать эти более *официозные*, нежели *официальные* заметки в *Сыне Отечества*, журнале, имевшем наибольшее число читателей, Новосильцов совершенно одобрил записку мою и представил ее Государю. Император, прочитав записку, изволил отозваться, что Греч и журнал его очень неблагонадежны, и неблагонамеренны. Так попытка моя и кончилась.

Из Русского Варшавского общества был со мною особенно дружен и сочувствовал мне, как Русскому литератору, человек, вовсе не принадлежащий письменному цеху и даже не Русский, именно граф Нессельроде, близкий родственник покойного канцлера нашего. Он вступил в Русскую военную службу, кажется в 1813 году, в эпоху отрезвления и освобождения Германии нашими войсками. В Варшаве застал я его адъютантом Великого Князя. С первого взгляда нельзя было не обратить на него особенного внимания. Во всей внешности и осанке его было что-то средневековое рыцарское: высокого роста, держался он прямо, мало подвижно и несколько сурово. Он напоминал эти каменные рыцарские изваяния, которые красуются на старых гробницах в готических соборах. Внутренно были в нем также рыцарские свойства: благородство, правдивость (хотя Великий Князь шуткою и прозвал его иезунтом, потому что принадлежал он Римскому исповеданию), впрочем также если не совсем суровость, то строгость и серьезность, но смягчаемые изящною вежли-

востью, сердечностью и высоким сочувствием во всему прекрасному, образованному и художественному. В несколько лет совершенно научился он Русскому языку; в произношении его было что-то чужезычное; но свыкся он с Русскою речью, говорил правильно и читал все Русское с понятливостью и толком. Именно все Русское, от Карамзина, Жуковского и Пушкина до Булгарина; получал все Русские периодические издания, сборники, альманахи, словари, грамматики. Не могло быть Немца и иностранца более и полнее обрусевшего, чем он, и заметить должно, обрусел он не в чистой и казенной России, а в Варшаве. Впрочем, также скоро обучился он и Польскому языку и ознакомился с Польскою литературою. Любил и уважал он Русских, но любил и Поляков. Полюбил Варшавскую жизнь и так сросся с нею, что и после отставки своей провел еще многие года в Варшаве и умер в ней в преклонных летах. Обрусел и Немецкий желудок его. У нас в доме упивался он кислыми щами и находил в них один недостаток, что они вовсе не хмельны: будь в них маленькая спиртная примесь и они были бы первый напиток в мире. Он был большой любитель музыки, которую знал хорошо. Аккомпанируя себе на клавинофордах, он необыкновенно звучно и стройно насвистывал целые оперные арии. По странной случайности, имел я большое и решительное влияние на жизнь его. Несколько месяцев, по отъезде жены моей в Москву, оставался я, так сказать, холостым в Варшаве. Время было довольно глухое и больших со-

браний в городе не было. Хорошо мне знакомый Польский артиллерийский полковник, потерявший ногу на войне, Ледуховский был помолвлен на девице N. Он был очень добр и простосердечен. Однажды предлагает он мне познакомиться с невестою и старшею сестрою ее, также девицею и довольно взрослою. «Чувствую, прибавил он, что им должно быть скучно в постоянной беседе со мною: вы присутствием своим оживите наши однообразные вечера». Согласился я на предложение его, и с первого посещения водворился у них. Разумеется, на долю разговора со мною особенно выпала старшая сестра: чета влюбленных перешептывалась между собою. Не скажу, что сказал Пушкин обо мне и Татьяне в *Онегине*:

К ней как-то Вяземский подсел  
И душу ей занять успел.

Нет, ни я не занял души ее, ни она моею не заняла. Но мы с нею совершенно не то что платонически, а очень просто прозаически и целомудренно сблизились. Это была приятельство двух лиц, которые друг другу пришлись по нраву и угодили друг другу. Подобная приятельство отличается от других приятельств тем, что одно из двух лиц должно быть непременно женского рода. Подобные перекрестные приятельства имеют особенную оживчивость и прелесть. Накануне отъезда моего в Россию, шутя, спросил я ее: кого после меня выберет она себе

в cavaliéro servente, и указал ей на молодого Англичанина, который только что приехал в Варшаву. – Ошибаетесь, отвечала она: а если кто-нибудь из здешних мог бы решительно мне понравиться, то это Нессельроде. На другой день на прощание завтракали мы с ним. Я передал ему сделанное мне признание и, также шутя, пожелал ему счастья в раскрывающемся пред ним романе. Мой Нессельроде, который был уже далеко не первой молодости, покраснел до ушей, как пятнадцатилетний отрок, и с волнением сказал мне: «Как это странно! и мне она очень нравятся». – Тем лучше, отвечал я: по одной и той же дороге не мудрено вам будет сойтись. На этом мы расстались. Спустя некоторое довольно продолжительное время, получаю в Москве письмо от Нессельроде. Он напоминает мне наш прощальный завтрак, слова, мною ему сказанные, и уведомляет меня, что они решили участь его и что он помолвлен на девице N. Я предвидел, что из этого ничего хорошего не будет; что Нессельроде вообще с привычками и нравом своим вовсе не годится быть нужен, а девица N в особенности не годится в жены Нессельроде. Но делу, завязавшемуся по моему невольному почину, разумеется, перечить не следовало. Поздравил я счастливых – и только. Год, или около года спустя, получаю опять от Нессельроде письмо, что par incompatibilité d'humeur, по несовместности нравов, он и жена его дружелюбно разъехались. Но по крайней мере временное их бракосожительство не осталось праздным. У них родилась дочь. В поэтические годы нашего

человечества это рождение, вероятно, не обошлось бы без особенного небесного или другого знамения. Но в наш прозаический век дела совершаются проще. Явление поэтические, исторические события носят на себе отпечаток домашний. Гомеру между нами не пришлось бы создать *Илиаду*, а Овидию – поэму *Искусство любить*. Тот и другой, может быть, писали бы фельетоны, или передовые статьи в временных листках. Как бы то ни было, дочь Нессельроде, которую в последствии времени знала вся образованная Европа, была существо одаренное богатыми, разнообразными и необычными способностями и силами. Во-первых природа создала ее красивою женщиною: уже это одно есть избрание и освящение. Польская и Немецкая стихии сливались в ней, но друг друга не изглаживали и не поглощали. Каждая из них выдавалась в стройной яркости своей. В ней была и вкрадчивая прелесть Сарматской женственности и тихое поэтическое сияние Германской Туснельды. Придайте к этому блеск Французской образованности, живую игривость ума и разговорчивости, и можно легко понять, что она должна была занять исключительное и почетное место везде, где бы она ни показывалась: в Петербурге, в Вене, в Берлине, в Париже, в Италии. Так оно и было. Искали знакомства ее и отличали ее и владетельные особы, замечательнейшие общественные люди, глубоко-умозрительные ученые, художники, и бедные, которым она помогала, и блестящая молодежь, которая поклонялась ей и вздыхала по ней. Музыкальная стихия в ней

также преобладала. Она была пианистка первого разряда: в игре ее была сила, бойкость, блеск и много чувства. При всем обольщении и, можно сказать, упоении исключительного положения своего и разнородных успехов, которые везде она пожинала, умела она сохранить свежесть и простосердечность чувства, оставшегося не растравленным и не задетым чарами, которые окружали ее. Из блестящей среды, в которой царствовала, переносилась она в тихий и скромный круг, где ожидали ее радушие и дружеский привет. И тут была она также разговорчива и увлекательна. Как сказочная царица заменяет свой золотой и яхонтовый венец венком из свежих полевых цветов, так великая актриса, господствующая над покорною толпою зрителей и поклонников, запросто, дома и посреди близких ей отдыхает от упоения побед своих и обольстительных головокружений сцены. Она обожала отца своего и отец ее нежно любил. Может быть, не совсем соразмерно с рамками статьи моей уделил я место очерку, мною здесь нарисованному; но изображение отца было бы как-то отрывочно, если не пополнить его присутствием дочери: так нераздельна была эта двойственность, а воспоминания о пребывании моем в Варшаве никак не могли миновать Нессельроде: они невольно и поминутно на него и на-талкиваются.

Дочь графа Нессельроде была замужем в первый раз за г. Коллерджи, во второй – за Мухановым. Недавно скончалась она в Варшаве. Смерть ее и похороны были торжественным

и печальным городским событием.

Между тем, для довершения варшавского эпизода жизни моей, должен я еще высказать несколько слов о Нессельроде, тем более, что если я имел некоторое влияние на частную и семейную жизнь его, то и он, по стечению обстоятельств, имел влияние на мою политическую, или по крайней мере служебную участь. Знакомство мое с ним относится в периоду первых годов восстановления королевской династии во Франции. После душевной атмосферы, господствовавшей в Европе под давлением Наполеона, везде, а во Франции особенно веял и разливался свежий, живительный, крепительный воздух. Политическая и литературная деятельность была в самом горячем и цветущем развитии. Варшава, место открытое, способное воспринимать все внешние наведения, и отзываться на все отголоски, долетающие до нее издали.

Политическая трибуна представителей Французского народа была в то время богата великими и красноречивыми ораторами. Вся Европа вслушивалась в их голоса, а Варшава и подавно. Я, грешный человек, особенно любовался и увлекался красноречием ораторов левой стороны: Бенжамена Константа, генерала Фуа, Казимира Перье и других передовых сподвижников конституционного порядка. Нессельроде был, напротив, и тут средневековой рыцарь, верный историческим преданиям и легитимист, каких, вероятно, было немного и у Людовика XVIII-го. Споры наши, совершенно платонические, по вопросам, для нас равно посторонним,



были самые горячие и бесконечные. Во время Неаполитанского восстания, разумеется, был я за Неаполитанцев и веровал в победу их; он был за Австрийцев и не сомневался, что они одолеют противников. Однажды, рано утром, приходит он во мне. Я еще спал. Он будит меня. Удивленный и несколько встревоженный неожиданным и равным посещением его, спрашиваю: что такое случилось? Как же, отвечает он, смеясь: не догадываешься ты? Я пришел уведомить тебя, что Австрийцы вступили в сдавшийся их Неаполь. Тут и я не мог не рассмеяться при выходке его. Так миролюбиво возобновлялись и длились при каждой встрече наши словесные и политические поединки. Разумеется, они имели огласку в городе, и в умах бдительного начальства получали важность, которой, в существе, не имели они. Я, ни душою, ни телом не виноватый, а разве одною гимнастикою языка, прослыл за революционера и за карбонара. В проезд Государя чрез Варшаву из-за границы, Великий Князь жаловался Его Величеству на меня. Я тогда был в России. По приказанию Государя, Новосильцов написал мне, что Его Величество, уведомившись, что я держусь принципов, несогласных с видами правительства, и разглашаю их, находит нужным воспретить мне возвращение в месту служение моего в Варшаве. Вот как Нессельроде, не гадав, не думав, как и я в женитьбе его, был виновником переворота в официальной жизни моей. Должно еще, для полноты рассказа моего, прибавить, что в этом случае не один язык мой, но и перо мое было враг

мой. В переписке моей, а я всегда был большой охотник писать письма, и по мнению одного приятеля моего – на всего написанного мною переживут меня одни письма мои, в переписке моей, особенно с Александром Тургеневым, позволял я себе, и часто употреблял во зло это позволение, откровенно, резко и нередко заносчиво говорить о том, что делалось в официальном Польском, а особенно Варшавском мире. Тогда еженедельно отправлялся из канцелярии Великого Князя курьер в Петербург, и между прочим отвозил письма наши. Мои, вероятно, были читаны и до достижения адреса, на которой были они написаны. Упоминаю обо всем этом без малейшего злопамятства. Напротив, готов сознаться, что высшее правительство имело повод быть недовольно мною. Человек служащий, следовательно более или менее облеченный правительственною доверенностью, отвечает пред нею не только за поступки и помышление свое, как бы ни были они чисты и добросовестны, но и за невоздержность и заносчивость речей своих, которые тоже, в данное время, могут быть действиями. Между тем, спустя несколько лет, по собственному побуждению и почину Великого Князя Константина Павловича, вступил я снова в службу в царствование Императора Николая, которому Великий Князь писал обо мне. Следовательно, все счета покончены честно и миролюбиво.